



Эльза Тернер

Лоскутки детства

Эмиль Гермер

Лоскутки детства

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22982768

Лоскутки детства (из жизни частного человека)/ Гермер Э.: Геликон

Плюс; Санкт-Петербург; 2017

ISBN 978-5-00098-116-0

Аннотация

«...Это – история действительной, реально прожитой нами жизни, "дворовая правда", правда дворов, лестниц, коммунальных квартир и их обитателей. Как ни странно – свидетельств реальной жизни этой эпохи (сороковые–двухтысячные) на удивление мало... И что вызывает самые лучшие чувства при прочтении – воспоминания эти не политизированы, не "морализированы", .. дышишь подлинным воздухом той жизни, которая почти и не засвидетельствована никем, тем более – так скрупулезно...

...Автор показал себя настоящим писателем – он умело монтирует "лоскутки", и там, где внимание может ослабеть – добавляет "перцу", озорства, неповторимой экзотики тех лет.

Уверен, что книга прочтется с неослабевающим интересом – я прочел ее фактически не отрываясь».

Содержание

Яркие лоскутки детства	5
Несколько мыслей вместо предисловия	8
Начало	12
«День зачатия я помню неточно...»	12
Высота	15
Жертва любви	27
Война!	30
Эвакуация	30
Челяба	42
Карточки	46
«Гастрономические изыски» тыла	52
Дети – фронту, фронт – детям	59
Папа	63
Жертва «любви» тыловой модификации	67
Я как учебное пособие для девочек	71
«Я с детства был испорченный ребенок...»	78
Рецидивист	88
Наркотик славы	108
Немцы вживую	111
Возвращение	115
Незабываемый лик войны	116
В тесноте да не в обиде	120
Город после блокады	123

Преступление и наказание	126
«День Победы, как он был от нас далек...»	133
Дом и двор	138
«Где эта улица, где этот дом...»	139
Наш двор – наше всё!	142
«А у нас во дворе...»	148
Первый контакт с правоохранительным органом	152
Стыд и срам!	165
«Вперед, “Зенит”, вперед за Питер!»	176
Конец ознакомительного фрагмента.	184

Эмиль Гермер

Лоскутки детства

(Из жизни частного человека)

Яркие лоскутки детства

Книга Эмиля Гермера называется скромнее – просто «Лоскутки детства». Но «одеяло» сшито из них довольно яркое, приковывающее внимание. Это, я бы сказал, наглядное пособие по нашей истории. По той истории, которую мы с ним прожили (мы с Эмилем почти ровесники). И что приятно – это не монументальная история, которой мы пресытились еще в школе (в большой степени искаженная)... Это – история действительной, реально прожитой нами жизни, «дворовая правда», правда дворов, лестниц, коммунальных квартир и их обитателей. Как ни странно – свидетельств реальной жизни этой эпохи (сороковые – двухтысячные) на удивление мало. Гораздо больше про Древний Рим. А про нас... Про сражения – да, про блокаду – да, но вот про нас, «pronзивших восемь десятков лет», не попавших по возрасту на войну, спасенных от блокады и вернувшихся в наш го-

род – реальных свидетельств крайне мало... тут я испытываю жажду – и автор эту мою жажду полностью утолил. Таких доскональных воспоминаний, как у автора этой книги, не вспомню. И что вызывает самые лучшие чувства при прочтении – воспоминания эти не политизированы, не «морализированы», но и не демонизированы – дышишь подлинным воздухом той жизни, которая почти и не засвидетельствована никем, тем более – так скрупулезно, как в этой книге. И хотя та жизнь по трудностям и опасностям превосходит теперешнюю – именно это и привлекает при чтении.

Автор показал себя настоящим писателем – он умело монтирует «лоскутки», и там, где внимание может ослабеть – добавляет «перцу», озорства, неповторимой экзотики тех лет. Уверен, что книга прочтется с неослабевающим интересом – я прочел ее фактически не отрываясь.

Валерий Попов,

*Председатель Союза Писателей СПб, Президент
СПб отделения Русского Пен-клуба, лауреат многих
литературных премий, а также премий Правительства РФ
и Правительства СПб по литературе.*

22.01.17, СПб

Памяти моих родителей —

Исаака Яковлевича и Веры Наумовны

*«Несколько бесхитростных историй,
рассказанных ниже, наряду со множеством
недостатков, на которые автору несомненно будет*

указано, имеют одно скромное достоинство: все они произошли на самом деле».

Виктор Шендерович. «Изюм из булки»

«...Романы постепенно уступят место дневниковым записям и автобиографиям, которые могут стать пленительными книгами, если только человек знает, как выбрать из того,...что действительно есть его опыт, и как записать эту правду собственной жизни правдиво».

Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882).

Несколько мыслей вместо предисловия

О названии – «Лоскутки детства». Многие доморощенные критики из числа так называемых приятелей, которым я доверительно сообщил название этого, весьма значимого для меня труда, поторопились сразу же обозвать его (название) кто претенциозным, а кто и избитым (хотя где они встречали подобное – не знаю). Но Бог с ними, с критиками, – у нас уже давно на каждого читателя приходится сотня пишущих, а на каждого пишущего – сплошные критики. А вот просто читатель стал явлением редким (за исключением конечно читателей детективов, боевиков, фэнтэзи и сентиментальных дамских романов). И его, читателя, пожалуй, уже пора заносить в «красную книгу». Или, по меньшей мере, писать это слово с заглавной буквы.

Особенно трудно создавать нечто автобиографическое, поскольку три четверти всех начинающих авторов выбирают почему-то именно этот жанр. Конкурс получается сумасшедший. И так неохота встраиваться в эту толпу соискателей успеха, а приходится – ведь я вынашивал и рожал этот текст не один год. Именно этот. И вдруг отказаться от него по причине банальности выбранного жанра?

Конечно, значительно больше гарантия успеха у мемуа-

ров уже известного писателя, написанных на закате дней. Но есть и обратные примеры – Лев Толстой, Аксаков, Горький и т. д., начинавшие в литературе со своего детства. Так что дело явно не в том когда писать мемуары, а как!

Лично мне очень импонирует утверждение А. П. Чехова, что он может сделать интересный рассказ, взяв в качестве объекта для творчества что угодно, хоть чернильницу. В нем я вижу уверенность не только в собственном таланте, но и уважение к таланту Мастера вообще. Мастера, способного увлекательно написать на любую тему.

Исключительно точно совпадают мои ощущения при написании этих мемуаров и со словами нашего выдающегося беллетриста и мемуариста Юрия Нагибина:

«Мне очень хочется в этих записках точно следовать тому, что было... Я сам не понимаю зачем мне это надо, ведь документальная точность в главном вполне может соседствовать с полной свободой в подробностях...никто не схватит меня за руку. Но тогда это будет другая книга, может быть живее, интереснее, а мне хочется написать именно эту» («Тьма в конце туннеля»).

Поэтому мне так обидно слышать советы, периодически поступающие от одного умного человека и талантливого писателя, который, выслушав очередной сюжет из этой повести, советует добавить то там, то тут остроты и драматизма, – то есть то, чего не было. Забывает он что ли каждый раз ос-

новной посыл данной вещи, который я неоднократно пытался до него донести?

Правильно сказал всем известный «...лучший, талантливейший поэт советской эпохи»: «Мало ли, что можно в книжке намолоть!» Действительно, намолоть можно много и разного – сколько развелось этих «мельников», уму не постижимо! А вот сермяжной правде, которая где-то сочнее, а где-то, увы, преснее (но зато Правда), – ей, по-моему, совсем другая цена. Особенно в биографическом романе, в интерьере ох какой непростой эпохи!

Но, конечно, при этом никто не отменял и «читабельность» написанного. В этом и весь фокус: написать правду, но живо и увлекательно. Еще одна цитата: «Увлекательность – вежливость писателя». Жаль, не помню кто сказал. Но точно помню – кто-то из весьма выдающихся.

Так почему все-таки «Лоскутки детства»? Лоскуток, как известно, маленький обрезок ткани, часто цветной, сам по себе абсолютно ничего не представляющий. Но будучи подобраны определенным образом и сшиты между собой, лоскутки могут стать очень красивой и самобытной вещью – наволочкой, ковриком, и даже скатертью или покрывалом. Так и воспоминания, – будучи сшиты из отдельных эпизодов, они могут дать талантливую, увлекательную картину чего угодно: эпохи, куска истории целой страны, но также и жизни (или ее части) обычного человека. Что, кстати, то-

же может оказаться небезынтересным... А может стать свидетельством беспомощности «портного», взявшегося за эту, только на вид простую работу.

Вообще-то, по сути, любые интересные и сколько-нибудь яркие воспоминания – это, прежде всего, соединение отдельных лоскутков, отдельных эпизодов жизни в одну неразрывную ткань, и гораздо реже – последовательное во времени, скрупулезное жизнеописание. Вряд ли след в мемуарной литературе и душе читателя оставят тексты, авторы которых боятся упустить малейшую деталь своей «бесценной для потомков» жизни.

Но может быть я неправ, поскольку вот фрагмент из дневника Чехова: – *«Сегодня утром был дождь. Хорошо позавтракал, а потом ходил гулять. После обеда вздремнул, а вечером пошли встречать Леку...»*. – Чехова! Не какого-нибудь там...

Ладно, Читатель. Извини за мистификацию. Правда, я тебе не лгу, что это – Чехов. Но это не из дневника нашего великого беллетриста и драматурга А. П. Чехова, а его отца, Павла Васильевича. Не имея ничего против этого милого человека, принявшего некоторое участие в появлении на свет нашей национальной гордости, тем не менее, по-моему, можно определенно утверждать, что литературный талант сыну достался явно не от отца.

Ну да ладно. Язвить по поводу других – дело нехитрое. А вот что получилось у меня самого?

Начало

*Еще ты у надежного причала,
Скрыт жизни путь за занавесом лет,
Твой первый шаг, как робкое начало
Поступков, поражений и побед.*

«День зачатия я помню неточно...»

– Лезь, лезь!... Ну что же ты не лезешь? Смотри, как там хорошо, темно... И всю грязь на себя можно собрать. Давай, давай..!

Мне года два с половиной-три. Я растерянно и удивленно смотрю на маму своими голубыми глазами, и... не лезу под кровать, где лежат мои игрушки, – их больше нэгде было хранить в нашей небольшой комнате в коммунальной квартире на Жуковского, 28.

Мама замучилась со мной. Лазать под кровать за игрушками мне строго-настрого запрещалось. Я должен был просить кого-нибудь из взрослых достать необходимую мне игрушку, а не лезть за ней по-пластунски, вытирая собой пол. Но никакие требования, упреки, уговоры и даже наказания не действовали – я лез под кровать, когда мне было надо. И даже когда не надо, назло – весьма популярная манера по-

ведения, называемая детским негативизмом. Однако, мама, по-видимому, была не чужда некоторым начаткам педагогики, которые, как видно, иногда приносили свои положительные плоды.

Конечно, эту сцену из моего детства когда-то рассказала мне мама – личные воспоминания трехлетнего возраста у меня, увы, отсутствуют. (Не то, что у некоторых мемуаристов, готовых поделиться эпизодами своего бытия, начиная чуть ли не с эмбрионального периода собственной жизни). Однако мне кажется, что и моя память тоже сделала свой мизерный вклад в описание этого эпизода, так ясно я его «помню».

А вот еще одно, довольно забавное «воспоминание» из еще более раннего возраста. Мне нет и годика, но я в своей легкой рубашонке до пупа, хотя и с трудом, но уже могу, стоя в деревянной кровати, передвигаться вдоль ее перил.

К маме пришла портниха. Понюнькалась со мной (в детстве я, ей богу, был очаровательный малыш – с ляннями, выющимися волосиками и чудесными голубыми глазенками), поставила свою сумку с готовым заказом следующей клиентки около моей кровати, и пошла с мамой в другой конец комнаты к зеркалу, для примерки.

Наконец это ответственное мероприятие, занявшее все их внимание, закончилось. Портниха вернулась за своей сумкой, и тут выяснилось, что я... написал прямо в нее. Что бы-

ло с портнихой, да и с мамой, трудно даже вообразить. Во всяком случае у мамы, женщины интеллигентной и начитанной, на этом месте рассказа не хватало слов, чтобы описать их состояние. Тем не менее, этот случай является бесспорным свидетельством того, что склонность к сомнительным шуткам была мне свойственна, в буквальном смысле слова, с пеленок.

Еще один мелкий штрих. Вы видали когда-нибудь трех-четырёхлетнего ребенка, не любящего шоколад? Уверен, что нет – такое извращение не часто увидишь. А я видал! При этом ежедневно и глаза в глаза, – глядя на себя в зеркало маминого трюмо или платяного шкафа. Правда, после войны выяснилось, что оно само по себе куда-то исчезло. Причем, окончательно и бесповоротно – я люблю и периодически ем шоколад всю последующую жизнь. Как все нормальные люди, фактически независимо от возраста. И даже не собираюсь искоренять эту свою, приобретенную позже обычного, привычку. Надо же хоть в ерунде уступать прихотям своей натуры без боя.

Высота

Вы когда-нибудь падали с моста в воду? А я падал... В три или четыре года, точно не помню. И это меня так потрясло, что стало, пожалуй, первым собственным воспоминанием.

Правда, если честно, то это был не мост, а мостик... А если еще точнее – доска, перекинутая через канаву глубиной примерно метра полтора, что, согласитесь, для трех-четырёхлетнего ребенка не так уж мало. На дне канавы постоянно стояла жижа, уровень которой становился значительным только после сильного дождя.

Я давно хотел перейти по этому мостику, но боялся. И вот однажды, «собрав в кулак» всю имевшуюся в наличии волю, я решился! Жижа поблескивала внизу, как бы подмигивая мне и подначивая. Собственный опыт – нулевой, инструктаж отсутствовал. Поэтому где-то на середине доски я, конечно, посмотрел вниз, голова закружилась, и я рухнул в канаву – плотоядно чавкнув, жижа приняла небольшую охапку одежды, внутри которой содержалось что-то животрепещущее.

Канавка, слава богу, была возле самой дачи, где мы снимали комнату в то лето, и потому на мой громогласный рев быстро сбежались и те, кому положено, и просто сочувствующие. Меня, орущего, в грязи и слезах извлекли из канавы, быстро раздели, отмыли, обцеловали, укутали в одеяло, и в качестве компенсации за пережитый нервный шок накорми-

ли до отвала гоголем-моголем. Этот дополнительный забываемый штрих, по-моему, существенно способствовал тому, что я так хорошо запомнил это происшествие.

Вероятнее всего, именно оно положило начало моей высотобоязни, периодически отравлявшей мне жизнь последующие несколько десятилетий. И, главное, в юношеском возрасте, когда таких дефектов особенно стесняешься. Я пытался бороться с этим недугом посредством силы воли. Но безуспешно. Специально я не искал случаев испытывать себя, но если такая необходимость появлялась, я очередной раз пытался преодолеть этот недостаток... И очередной раз терпел поражение.

Эту мою борьбу с самим собой я старался скрывать от окружающих. Частенько это удавалось, но однажды...

Весенняя сессия в этом году пришла на май, и когда мы очнулись весна уже миновала. Поэтому, прибыв на первую ознакомительную практику в Светогорск (бывший финский город Энсо), мы тотчас побросали рюкзаки и сумки на указанное место, и вывалились на крыльцо заводоуправления.

Стояли, зажмурив глаза от яркого света, бессмысленно улыбаясь и слегка хмелея от по-летнему теплого, с каким-то неопределимым загородным флюидом, пронизанного солнцем воздуха.

Появилась проблема – куда деть примерно час, пока наш руководитель решит проблемы с проживанием и предстоя-

щей производственной практикой.

Я примкнул к ребятам, которые шумливой, возбужденной ватагой двинулись напрямик – то ли в лес, то ли в перелесок, расположенный прямо напротив заводоуправления. В качестве «проводника» совершенно неосознанно была выбрана какая-то невыразительная тропинка, ведущая куда-то вглубь. Минут десять-пятнадцать мы шли, хрустя сухими ветками, весело болтая и как-то непривольно разбившись на группки человека по два-три.

Неожиданно тропа вывела нас на заросшую поляну, в конце которой стояло явно необитаемое строение непонятного назначения. Внутри, сквозь большущие оконные проемы, никогда не знавшие рам, были видны бетонные лестничные марши, ведущие куда-то вверх. ...Насколько именно вверх – было совершенно не ясно, поскольку вершина этой, как оказалось башни, уходила куда-то в заоблачную высь, скрываясь в кронах высоченных сосен, росших вокруг. Как мы узнали позже, это была недостроенная парашютная вышка, строительство которой прервала советско-финская война 1939-1940-го года.

Основная особенность этого четырехгранного необычного сооружения была в том, что в конце каждого лестничного марша в наружной стене имелся начинавшийся от самого пола высоченный проем длиной метра три. И самое ужасное – ничем не огороженный! Мимо него надо было проходить по узюсенькой площадке шириной сантиметров в сорок.

– Пацаны, кто наверх? – вдруг заорал Вовка, оглядывая призывным взглядом всю нашу компанию.

К моему удивлению и ужасу предложение было принято с энтузиазмом, причем и девчонками тоже, – в молодости так характерно желание впрыснуть себе в кровь немного адреналина.

Я, внутренне сжавшись, замер, надеясь, что может хоть кто-то возразит, ну хоть кто-нибудь из девчонок. Но то ли эти «кто-нибудь» постеснялись продемонстрировать свою нерешительность, то ли попался уж очень лихой народ, из одних высотостойких, но возразивших или даже колеблющихся не нашлось.

Ну что мне было делать? Не оставаться же одному внизу, чтобы ребята и девочки приветственно помахивали мне сверху ручками, проходя мимо проемов на каждом этаже, и отпуская в мой адрес язвительные замечания. А потом, по возвращении, еще и рассказали бы о моей трусости всем остальным. Кому тут объяснишь, что есть, мол, такая болезнь – высотобоязнь. Что и смелые люди могут ею страдать. И ничего зазорного в этом нет. И что я отношусь именно к таким смелым, но страдающим этой самой высотобоязнью и т. д. и т. п. Да и кому нужны мои оправдания, кто их будет слушать? Вот так вот будут стоять и слушать, а я буду держать свою взволнованную речь?? Смех, да и только! Ведь молодость во многом довольно жестока: кажется, что просто тебе – просто и другим.

А тут уже и народ веселой стайкой бодро потянулся к вышке. Сколько разнообразных чувств и мыслей пронеслось во мне за эти буквально несколько секунд, в которые надо было принять решение, – иду или нет?! Прямо как перед утопающим, если верить тем, кто так и не утонул. Среди этих мыслишек была, правда, одна, слегка обнадеживающая, за которую я и уцепился: уже несколько лет мне не доводилось проверять при мне ли еще этот злосчастный порок. Ведь сколько есть всяких детских болезней, которые просто проходят с возрастом. Может быть я зря дергаюсь, может быть у меня и нет уже никакой высотобоязни?! И цепляясь за эту спасительную мысль-соломинку, собрав в кулак, как двадцать лет назад в дачном детстве, всю свою волю, я поплелся вместе со всеми к вышке. И чтобы уж совсем отрезать себе путь к отступлению, встроился в середину очереди, довольно быстро поглощаемой входным проемом.

Чтобы достичь верха вышки, надо было, как я сказал, по узеньким площадкам раз тридцать, если не больше, пройти по краю пропасти, глубина которой, естественно, возрастала с каждым пройденным вверх маршем.

Впереди меня идут ребята, сзади тоже. Напрягшись, и буквально влипая в стенку слева, глядя только вперед под ноги, чтобы не споткнуться, не дай бог, о кое-где выступающие из пола куски арматуры и нашлапки цемента, я как-то более-менее приемлемо преодолеваю первые площад-

ки. Однако подъем продолжается. И с каждым следующим лестничным маршем мной все больше овладевает настоящая паника – моя болезнь, увьи, никуда от меня не делась! Кто-то, идущий сзади, выражает недовольство мною... Но кто это, и чем там он недоволен, я уже абсолютно не соображаю.

Справа под проемами уже зияет пропасть глубиной метров десять – более чем достаточно, чтобы гарантированно сломать себе не только шею, а вообще все. Но основной подъем еще впереди...! А потом ведь еще спускаться вниз...!

Я весь в холодной испарине, ноги ватные и совершенно не держат. К каждой ноге как будто привязан тяжеленный свинцовый груз – перемещаю их только волоча и нечеловеческим усилием воли. А впереди еще немереное число раз надо пройти по краю катастрофически углубляющейся пропасти. Сердце провалилось куда-то в поддых, и не дает нормально вдохнуть. Меня так и тянет прекратить эти мучения, и, расслабившись, рухнуть в очередной, преодолеваемый с такими муками, проем...

И тут происходит невероятное – когда чего-нибудь очень опасаясь, это всегда случается. Где-то уже очень высоко, при проходе через очередную площадку... я спотыкаюсь!!! О незаметный наплыв цемента. Все, что было в поле зрения катастрофически качнулось и площадка стала куда-то уходить из под ног. Меня мгновенно охватывает непередаваемый ужас, дыхание перехватывает, сердце вдруг

останавливается, а какая-то потусторонняя сила настойчиво тащит к краю площадки... Я интуитивно судорожно дергаюсь в противоположную сторону, сталкиваюсь со стенкой слева, и от этого толчка опять отлетаю вправо, наружу, в пропасть...! Спасает только то, что при всех этих шатаниях я по инерции продолжаю двигаться вперед, произвольно удлиняя и убыстряя шаг. По самой кромке площадки, в два шага, каким-то чудом достигаю конца проема – здесь, с угла начинается следующий лестничный марш, идущий уже между стенок с обеих сторон.

Вот теперь я ощущаю что такое действительно дурно! Где-то в подкорке я понимаю, что если сейчас остановлюсь, чтобы прийти в себя, то уже никакие силы в мире не заставят меня продолжить подъем. А снизу напирают ребята, с которыми мне надо будет впритирку расходиться на узенькой лестнице, спускаясь под их презрительными взглядами и под унизительные ремарки. И тут уж на какой-нибудь площадке я точно вывалюсь в таком состоянии.

...И я продолжаю идти вперед! И только вперед! В состоянии полной прострации, уже ничего не чувствуя и не сообщая.

...Как я дотащился до верха вышки, совершенно не помню – видимо на каком-то «автопилоте», работавшем только на предельном усилии воли.

Наверху была открытая площадка из подгнивших досок. Тоже без всякого ограждения. Мальчишки довольно быстро

отдышались, встали на ноги и, комментируя открывшуюся сверху роскошную круговую панораму, стали слегка подталкивать друг друга под возмущенные вскрики девочек, требовавших немедленно прекратить эти опасные идиотские шутки. Я же в полуобмороке буквально влип в этот ненадежный настил, будучи не в силах даже приподнять голову.

Придти в себя не удавалось. В голове панически металась мысль о необходимости спуска вниз. Меня стала бить отвратительная мелкая дрожь – скорее от нервов, чем от холода. Хотя было от чего и замерзнуть – пронизывающий высотный ветер, совершенно не ощущавшийся внизу, легко продувал рубашку, насквозь мокрую от обильного пота.

Наконец все, налюбовавшись редким видом, продрогли, и решили, что пора спускаться.

...И все началось сначала. Только теперь пропасть возникла не справа, а слева, и с каждым лестничным маршем она, слава богу, не увеличивалась, а уменьшалась. Видимо этот психологический нюанс крайне незначителен, но все-таки сделал спуск легче подъема.

...Когда мы достигли низа, я натурально был на грани обморока. Ребята же возбужденно делились взбодрившими их впечатлениями, и на мое состояние никто и внимания не обратил.

...После этого случая, в двадцать три года, у меня появились первые седые волосы, незаметные, правда, в тогда еще густой, и еще темнорусой шевелюре.

– «Колени не сгибай! Не сгибайте колени, я говорю! Прямыми ногами от бедра, и чаще, чаще работать! ... Вот так... Так и продолжайте. Я же говорил, что все получится». – Виктор Павлович идет вдоль кромки бассейна параллельно моему перемещению по плавательной дорожке, а я, вцепившись в пенопластовую доску, которую держу на вытянутых руках, задрал голову, судорожно дыша и выпучив глаза, как утопающая Му-Му, пытаюсь следовать его указаниям. И... действительно плыву. Это я осваиваю азы плавания кролем. Но главное для меня не кроль, и вообще не плавание, а вот что: минут за пятнадцать до конца каждого занятия Виктор Павлович разрешает нам снять леера и попрыгать с трехметровой вышки – вот это для меня главное!

Дело в том, что за годы, миновавшие с того самого подъема на парашютную вышку... Да что там годы – за пару десятков лет, прошедших с тех пор, моя «высотная проблема» все еще оставалась при мне. И никакого способа избавиться от нее так, чтобы без риска для жизни или здоровья, не просматривалось. Но тут вдруг подфартило – через профком учебного института (ныне университета), где я трудился с.н. с-ом, удалось достать льготный абонемент в бассейн института физкультуры имени Лесгафта, что на улице Декабристов. Уже на первом занятии я понял – вот он мой шанс. Или сейчас, или никогда!

Трехметровая вышка имела подкидную доску, выдвинутую вглубь бассейна метра на полтора. С нее и полагалось прыгать. Комичное и жалкое зрелище я наверно представлял собой: набравшись духу, подходил к краю вышки и, сцепившись в боковой поручень, этак «непринужденно» озирался вокруг, пропуская на подкидную доску желающих прыгнуть. Всем своим видом показывая, что прыгать во все и не собираюсь – просто отсюда лучше наблюдать за прыжками других. Вряд ли кого могли обмануть эти мои жалкие попытки закамouflировать трусость под любознательность. Я это понимал, и с помощью немалых волевых усилий данный «предпрыжковый» этап мне удалось сократить до минимума.

Наконец, настал день, когда я встал-таки на подкидную доску и заставил себя подойти к ее краю, чуть-чуть покачался, пружиня колени, как опытный прыгун... Тут можно провести аналогию с начинающим парашютистом, оказавшимся при первом прыжке перед открытой дверью самолета, – назад возврата нет. За неимением инструктора, дающего в таких случаях пинок в зад наиболее нерешительным, мне пришлось как бы дать такой пинок самому себе.

Сваливаясь с вышки, я желал только одного – не умереть в полете от разрыва сердца! Ничего, обошлось. Разве что кожу сильно саднило в том месте, которым приводнился.

Ободренный своим «выдающимся достижением», я заставил себя опять влезть на вышку. Второй прыжок хоть

чуть-чуть, может быть совсем немного, но все же было совершить легче, чем первый. Ну, и пошло-поехало... Скоро мой стиль стал все больше и больше походить на фирменный прыжок «солдатином», затем последовал спад прямым корпусом с вытянутыми вверх руками... И, наконец, прыжки «ласточкой» – вершина моих достижений.

Потом в той же последовательности осваивалась пятиметровая вышка. А вот на десятиметровой я смог только стоять на краю, крепко держась за поручень – на большее духу так и не хватило.

Тем не менее, основная цель была достигнута – летом, на природе я убедился, что высотобоязнь наконец-то отпустила меня, причем вроде бы окончательно и бесповоротно.

Кстати, в бассейне, с чувством немалою удовлетворения, я смог убедиться, что высоты боятся почти все – правда, в разной степени.

Закончу этот сюжет одной странной небольшой историей, которую рассказал мне Виктор Павлович.

Как-то в бассейн привели группу летчиков – в числе прочих спортивных нормативов от них требовалось выполнить прыжок в воду с вышки. Причем достаточно было прыжка и с трехметровой, а от самого прыжка требовался только факт его осуществления, и не более того. Виктор Павлович, в общем-то повидавший много разных «прыгунов», был поражен, видя как эти здоровые молодые мужики, летающие на высотах в тысячи метров, мобилизовав всю силу воли,

с дрожью в коленках выходили на подкидную доску. Выпучив от страха и напряжения воли глаза, судорожно сглотнув, они рушились с высоты всего трех метров стилем «падающего куля». Выныривая, они с радостными лицами, что остались живы, растерянно суетились в воде, в первый момент не соображая куда плыть к бортику.

Эта историйка добавила еще несколько капель бальзама на мое больное самолюбие, которое столько лет страдало от неполноценности, стоившей мне таких переживаний.

...Так что теперь пройти по канату между двумя небо-скребами... я, пожалуй, еще не решусь, но прогуляться по краю глубокого обрыва, или по доске перебежать пару метров над трех-четырёх метровой высотой, не потеряв сознания, – это пожалуйста. Это хоть сейчас!

Жертва любви

– Ах, ну что это такое, в самом деле...! Что за безобразие! Стучаться надо!.. – собиралась возмущенно воскликнуть наша молодая (хотя, пожалуй, уже не очень) соседка, стоя голая в ванне. Затем по ее сценарию она протянет руку и захлопнет дверь, оставленную ею незапертой как бы по «естественной девичьей рассеянности». За те пару секунд, что потребуются на произнесение этих «реплик», молодой, и, как тогда говорили, свободный сосед, делавший в это время «мокрую уборку» в своей комнатухе (которому по ее расчетам вот-вот должна была потребоваться вода), должен был успеть увидеть, оценить и навечно запечатлеть в своей памяти во всей их красоте и цельности, ее женские прелести. Предполагалось, что позднее, лежа руки за голову и с папиросой во рту на своем продавленном диване, он будет мучиться любовной тоской, вспоминая эти самые прелести. И наконец-то перейдет к более активным, и, главное, конкретным действиям.

Но, увы! Мечты и действительность редко совпадают. Наверно поэтому, в силу известной детской манеры соваться куда и когда не надо, в незапертую дверь ванной раньше соседа, совершенно не по сценарию, заглянул я – на короткое время ускользнувший от родительского внимания и слонявшийся по квартире. Будучи уверенной, что по крайней ме-

ре первая часть ее плана удалась, уже намыленная соседка прекрасно сыграла заготовленную фразу. Грациозно, по-девичьи стыдливо прикрыв левой рукой самое дорогое, что дала ей природа, правой она «возмущенно» захлопнула приоткрывшуюся дверь.

Этим своим неуместным детским любопытством я не только преступно испортил всю, так тщательно продуманную мизансцену, но и исковеркал личную жизнь соседки. А также нелишнюю часть своего мелкого существа – моя недостаточно быстрая реакция привела к тому, что захлопнутая с немалой силой дверь прищемила мне палец. Мой вопль, переходящий в непрерывный рев внушительной мощности, исторгнутый из самой глубины детского организма, никогда не испытывавшего подобной боли, остановил на секунду сердца моих родителей и обычную жизнедеятельность всей квартиры. С поднятой, как красное знамя во время маевки, окровавленной руки стекала (и довольно обильно) на пол свежая детская кровь! Подскочившая мама молниеносно туго замотала мне руку первой попавшейся чистой на вид тряпкой. Папа схватил меня в охапку и помчался в ближайшее лечебное учреждение. Слава богу, оно было за ближайшим углом, на Литейном – Мариинская больница. Папа был воплощенная «Скорая помощь» по всем параметрам: по скорости движения, по звуковому сопровождению, которое осуществлял я своим истошным, непрерывным воем, и по реакции прохожих, шарахавшихся во все стороны, уступая нам дорогу...

Вот такая вот история случилась со мной в четыре года, перед самой войной.

Я давно простил тебя, глупая, невнимательная женщина! Только не могу понять кой черт я вынужден с тех пор пожизненно носить память о тебе – продольный шрам на изуродованном тобой среднем пальце правой руки.

Война!

*ОНА была там, и была здесь,
Вокруг была только ОНА,
Не хватало времени спать,
и еды, чтобы есть —
Ведь это была ВОЙНА!*

Эвакуация

Со времен карет и ломовых извозчиков на расстоянии чуть-чуть меньшем ширины подворотни, – как со стороны улицы, так и со стороны двора, – стояло по паре каменных тумб высотой около полуметра. Они устанавливались, что бы в подворотню не въехала слишком широкая карета или телега, и не ободрала бы ее стенки и свои бока. Первое мое детское военное впечатление связано как раз с такой тумбой. На ней сидел пожилой, усатый сосед с ответственным лицом. В какой-то странной шапке – кепка ни кепка, фуражка ни фуражка, одно слово – шапка. Он был перетянут поверх пиджака солдатским ремнем, с красной повязкой на рукаве (дежурный). Но, главное, – с увиденной мною впервые противогазной сумкой защитного цвета, одетой наискосок через плечо. И с какой-то, тогда еще непонятной мне, вылезавшей

из сумки гофрированной трубкой.

А еще почему-то я запомнил, как знакомая мне в лицо де-вушка с нашего двора гордо и возбужденно рассказывала подруге, как помогала таскать на чердак песок, чтобы тушить зажигалки. Мне было непонятно почему зажигалки надо тушить песком – ведь все всегда тушат водой. Может потому и запомнил.

Помню окна домов, зачем-то оклеенные крест-накрест бумажными лентами. Как я узнал позже, – чтобы не разлетались стекла, если они разобьются взрывной волной при бомбежке или артобстреле...

Следующее воспоминание: мы с мамой едем в оборудованной нарами «теплушке» – грузовой дощатый вагон коричневого цвета с откатными дверями для перевозки чего угодно: людей, лошадей, техники. Нам принадлежит на верхних нарах площадь примерно 1,5 на 0,8 метра (это, конечно, при трансформации моих тогдашних зрительных впечатлений в сегодняшние, уже количественные). Содержимое теплушки – сплошь женщины с детьми разного возраста. Все взволнованы, внутренне напряжены и, как ни странно, довольно молчаливы. Никто не конфликтует; дети, чувствуя состояние взрослых, почти не капризничают и не балуются. Да и баловаться негде – все утрамбовано до предела. Ни бабушки Сони, ни Люли (мамины мама и сестра, жившие от нас отдельно, на Невском), ни, тем более, папы с нами поче-

му-то нет.

2006-ой год. После маминей смерти разбираю оставшиеся после нее многочисленные письма, записки, справки, скопившиеся за всю ее долгую жизнь – выкидывать даже мелкие свидетельства своей жизни мама не любила. Передалась эта черта и мне. У меня она явно гипертрофированная и к тому же бесполезная – знаю, что мои сыновья сгребут в кучу, не разбирая, оставшийся от меня подобный бумажный «хлам», и выкинут его на помойку. И рука не дрогнет. И даже не задумаются, что это ведь какие-то меты жизни их отца, а также деда, прадеда, бабушек, прабабушек, – короче, их же собственных предков. Деловые, прагматичные детки. Не в их правилах сентиментальничать в подобных случаях. Достаточно вспомнить, как мой младшенький понуждал меня к подобным действиям, когда стало ясно, что из-за этой моей «плюшкинской» привычки я чересчур задерживаю освобождение маминей квартиры, предназначенной для обмена, в котором он был заинтересован.

...Рассматриваю каждую бумажку – сколько воспоминаний рождают многие из них, особенно относящиеся к моему детству, к годам войны. Сам удивляюсь сколько, оказывается, может сохранить память даже четырех – восьмилетнего ребенка (мой возраст времен войны). А сколько нового из жизни родителей узнаю... Но все оставить не могу – что-то и мне придется выкинуть, – объемы для хране-

ния в однокомнатной квартире серьезно ограничивают мою склонность семейного «архивариуса». Какое это мучительное и трудное занятие – сортировать материнский архив с обязательным условием избавиться от его части!..

Среди пожелтевших записок, справок вдруг нахожусь совершенно новехонький небольшой картонный билет. Типа тех, что еще недавно было достаточно для проезда даже в поезде дальнего следования (чуть позднее эти картонные прямоугольнички все равно выдавались вместе с полномасштабным бумажным железнодорожным билетом). Смотрю, – билет для проезда на пассажирском пароходе по маршруту Астрахань-Баку. В Баку после войны мама не была ни разу. Я бывал, но последний раз это было четверть века назад, а предпоследний – еще лет за пятнадцать до этого... И всегда только самолетом или поездом. А Астрахань тут причем? В Астрахани, насколько я помню, ни мама, ни я вообще не были ни разу. Что за ерунда? Чей это совсем новенький билет она хранила?? И тут мне, наконец, пришла в голову мысль взглянуть на дату отправления, которая на таких билетах пробивалась дырочками специальным компостером. Что за чушь? – вдоль верхней кромки билета четко выбито – «25 VIII 41». Я замер в недоумении... И тут я вспомнил! Причем так ясно, как будто это было вчера, а мне было не четыре года, а, по крайней мере, сорок.

Поездом ехали трудно, нудно и много дней. Приехали в

Астрахань. Оттуда – в темном трюме грузовой баржи, буксируемой пароходиком. Опять незнакомые, но уже другие женщины, дети, разбросанные в темном трюме баржи впере­мешку с собственными вещевыми узлами и чемоданами. Здесь еще более тесно и душно, чем в теплушке, – все ле­жат просто вповалку. Эту поездку в барже вспомнил так яс­но наверно еще и потому, что уж очень необычным и страш­новатым было это морское «путешествие». Впервые в жизни испытал морскую болезнь, длившуюся на протяжении все­го морского перехода, продолжавшегося с редкими остано­вками двое или трое суток. Мамочка всю дорогу пыталась отвлечь меня всякими разговорами, меняла на лбу мокрые тряпки, подставляла какую-то миску, когда меня выворачивало наизнанку от постоянного головокружения, хотя и са­мой было несладко. Но ведь мама!

Наконец, Баку! Баку – родина папы и мамы. Но маминых близких здесь давно уже нет, а вот папины почти в полном комплекте: бабушка Лена, тетя Оля, тетя Лина с мужем – дядей Мишей (дедушка умер относительно недавно – за год до моего рождения).

Мои бакинские родственники видели меня (да, кажется, и маму) впервые. Папина родительская семья дружная, все очень любят друг друга. А папу особенно, поскольку он – младшенький. К тому же единственный сын, и единствен­ный брат у двух сестер. Естественно, эта безграничная род­ственная любовь была перенесена и на меня с мамой. Еще

бы – Исенькин (уменьшительное от Исаак) сын! Да еще такой красавчик – с белокурыми локонами и голубыми глазенками... К тому же я был единственным ребенком во всей семье – у тети Лины и дяди Миши дети не получались, а тетя Оля замужем не была (да так никогда и не вышла). Вокруг нас с мамой поднялось неслыханное кудахтанье и суета; нас отмыли, накормили и уложили спать на чистые простыни. Видимо вследствие контраста с только что пережитым, эти свежие, хрустящие простыни особенно врезались в память.

Сколько дней мы пробыли в Баку – не помню. Память сохранила только два, совершенно неравнозначных сюжета.

Первый: я сижу на крытой веранде (она же коридор) второго этажа, выходящей во внутренний двор, и смотрю вниз. Там, по пятнистому от солнечных пятен двору, важно, неторопливо, как-то по-хозяйски шествует какое-то совершенно незнакомое существо; как потом узнал – черепаха. Двор большой. В углу – навес из реек, по которым выются виноградные ветви с большими, красивыми листьями и уже с гроздьями.

Восемь лет спустя я опять увидел этот двор. Какой там двор! Крошечный внутренний дворик метров тридцать квадратных. Но навес с виноградными гроздьями оказался таким, как я его запомнил первый раз – весь такой уютный и знакомый.

А вот второй сюжет. В какую-то из ночей я проснулся от

яркого электрического света и негромкого разговора. Мама – в наспех надетых юбке и кофточке; тут же тетя Лина в каком-то невзрачном халатике. Она взволнованно что-то говорила, обращаясь к двум молчаливым, строгим мужчинам, одетым во что-то полувоенное, – кажется просила не разбудить ребенка... Но ребенок уже проснулся, и глядел вокруг, ничего не понимая со сна, и вообще... Тетя Лина нервно, но стараясь сдерживаться, что-то спрашивала у незнакомцев. Они ничего ей не отвечали, и вообще старались не встречаться с ней взглядом. Из соседней комнаты вышел одетый дядя Миша, поцеловал тетю Лину, которая почему-то разревелась. Он успокаивал ее, что-то говоря ей каким-то искусственно спокойным тоном. Потом он как-то неуклюже поцеловал в щеку маму, подошел ко мне, чмокнул меня в голову и вышел из комнаты. За ним сразу вышли эти мужчины. Тетя Лина тоже тотчас куда-то ушла. Мама взяла меня к себе в постель, и как-то невразумительно объясняла мне, что за дядей Мишей пришли с работы... Где были баба Лена и тетя Оля – не помню.

Утром все были какие-то подавленные, мрачные. А тетя Лина вдруг заболела, и тетя Оля все время бегала к ней в соседнюю комнату с лекарствами. Дядя Миша почему-то так и не вернулся с работы до самого нашего отъезда.

Больше к этому эпизоду никто не возвращался, но все ходили печальные и какие-то странные. Через день или два мы с мамой поездом уехали в Челябинск, где нас ждал папа.

Это ночное происшествие, хоть и запомнилось, но слишком уж необычным мне, четырехлетнему, не показалось. Только лет пятнадцать спустя, мама мне все объяснила.

Дядя Миша был хороший инженер, с большим опытом работы. Да и вообще настоящих инженеров, с образованием, а не выдвиженцев в инженеры, тогда было маловато. Начальство его ценило – в начале тридцатых годов его даже назначили на весьма ответственный и, главное, высокий по тем временам и в тех местах пост – начальника трамвайного строительства в г. Гянджи (с 1936 по 1989 – г. Кировобад). По теперешним меркам для тех мест это было что-то вроде начальника строительства метрополитена, ну если не Москвы, то, по крайней мере, Петербурга или Нижнего Новгорода. Поэтому у него завелись то ли завистники, то ли недоброжелатели, то ли просто кто-то из сослуживцев вульгарно захотел сесть на его место... Так или иначе, но где-то в 1937-ом или в 1938-ом на него «стукнули», используя в качестве повода для доноса какую-то сущую ерунду (но не по тем временам) – вроде где-то мельком сказанные, не очень лояльные власти слова. Годы это известные – от НКВД тогда не спасали никакие должности, звания или заслуги. И дядя Миша получил что-то около десятки.

Где-то перед войной, после очередной «пересменки» в органах НКВД, – в данном случае с Ежова на Берию, – новый нарком со своим усатым патроном решили «на минуточку»

показать населению, что теперь все будет иначе. По справедливости, с соблюдением норм социалистической законности, – не то, что при этом перерожденце Ежове. И по этому поводу даже выпустили малую толику жертв «ежовского перегиба», в число которых посчастливилось попасть и дяде Мише. Где-то в 1940-ом или даже уже в 1941-ом, он вернулся из «мест не столь отдаленных». Но началась война, и в целях безопасности Отечества было решено этот сомнительный либерализм свернуть. Выпущенных же, на всякий случай опять возвратить туда, откуда их по минутной мягкотелости, несвойственной истинным большевикам, извлекли буквально только что. Вот в этот момент нашей отечественной и семейной истории мы с мамой и оказались в Баку. И стали свидетелями, как дядю Мишу после трех или четырех лет лагеря и буквально считанных месяцев свободы опять водворили на место – «всяк сверчок знай свой шесток».

Такой кульбит не каждая психика выдержит. У дяди Миши – выдержала, а вот у тети Лины – нет. Тогда она и надломилась у нее, имевшей счастье не только быть замужем, но и несчастье горячо любить своего мужа.

...Из лагеря дядя Миша уже не вернулся. Ко мне, после кончины тети Оли в 1967 году, вместе с другими документами перешло выданное в лагере Свидетельство о смерти за № 203: «Гр. Богат Михаил Абрамович скончался 27 марта 1946 года, возраст – 52 года, причина смерти – туберкулез легких», – самая распространенная и по сей день лагерная

болезнь. После повторного ареста затруднять себя далекой его транспортировкой они не стали: «Место смерти: г. Нальчик, КАССР». Вот и замкнулся круг ада для одной из песчинок «лагерной пыли» сталинизма: почти в тех же местах, где жил и трудился, где взяли (первый раз), где сидел – там и умер!

Вот так тетя Лина – красавица в молодости, для которой муж всегда был не только любимый человек, но и опора, – осталась одна. Без надежды дождаться его, без профессии и специального образования. По этой причине «уйти с головой в работу» она не могла, а быть приживалкой при родной сестре, вернувшейся с фронта, – не хотела... И когда они после многочисленных запросов получили это самое Свидетельство о смерти дяди Миши, уже надломленная ее психика и нервы не выдержали. Несколько раз тете Оле удавалось предотвратить ее попытки наложить на себя руки. Но в конце концов тетя Лина нашла момент, чтобы свести счета со ставшей столь постылой жизнью, исковерканной «вождем всего советского народа и прогрессивного человечества» и его подручными, – она повесилась. В свидетельстве о смерти, выданном тете Оле в том же 1951 году, так прямо, без обиняков, против графы «причина смерти» написано – асфиксия.

Вместе со свидетельствами о смерти моих близких и прочими бумагами, мне в наследство достались еще и фотографии. На одной из них, около 1924–1926 года, красавица тетя

Лина. Ей там чуть за тридцать. Сидит в парке на скамейке, со вкусом одетая, вместе со своим импозантным и, даже прямо скажем, красавцем мужем. Есть фотографии и 1930-х, со строительства этого самого «нальчикского трамвая». На одной из них дядя Миша в кепке и рабочей робе в центре большого, человек в сорок-пятьдесят сугубо мужского коллектива. Есть и другие его фотографии с товарищами по работе. Весьма вероятно, что именно кто-то из запечатленных на них и написал на него донос. Вот бы знать, кто именно. И посмотреть ему в глаза... Пусть хотя бы и на фотографии!

2013-ый год. Я уже второй семестр читаю лекции в этом потоке, и довольно хорошо представляю «ху из ху» из моих студентов. Большинство из них иногородние. Иногда для проверки каких-то своих, не всегда ясных самому умозаключений, спрашиваю кто из них откуда. Вот и сейчас: – Артем, а ты откуда? – Из Гянджи – это город в Азербайджане. – Мой дядя в 30-е годы строил у вас в городе трамвай, большим человеком считался. Его посадили в 37-ом, в годы террора, потом выпустили на чуть-чуть, а после начала войны – опять посадили. Он умер в лагере в 1946-ом. Вот когда будешь дома, и доведется ехать в трамвае, вспомни хотя бы разок о том, что я сейчас рассказал. – Эмиль Исаакович, а у нас в городе нет трамвая. – Как нет?? – Вот так, нет. – А ты давно живешь в Гянджи? – С 99-ого. ... Я в некоторой растерянности... – Значит, сняли...

Но был, – ведь у меня есть даже фотоснимок трамвайного вагона на рельсах, положенных на еще не полностью сформированную насыпь, с указанием на обороте места и года.

Такая вот история. Был человек – и нет человека. Ни человека, ни даже следов его дела – может быть важнейшего дела его жизни! «А был ли мальчик??!» – помните, у Горького в «Климе Самгине»?

Челяба

Папа работал в Ленинграде, в 8-ом Государственном проектно-институте (8-ом ГПИ), который служил для инженерного обеспечения гиганта советской танково-тракторной индустрии Кировского завода. Оттуда в середине 1930-х вместе с мамой он временно уезжал по трудовому договору на Урал, в г. Каменск (ныне г. Каменск-Уральский), на строительство Уральского алюминиевого комбината. Туда же, в 8-ой ГПИ, он и вернулся за несколько лет до войны. На строительстве они с мамой приобрели лучших друзей на всю последующую жизнь. А в конце своего пребывания там – заодно и меня.

Вскоре после начала войны Кировский завод и все, работавшие на него учреждения города, были эвакуированы в Челябинск (небольшая часть производственных мощностей осталась; во время блокады на Кировском ремонтировали танки и делали еще разнообразную работу для фронта).

Папа еще до нашей эвакуации был отправлен в командировку в г. Барнаул, на Алтае. Мы же в его отсутствие были эвакуированы как члены его семьи. Папа настаивал, чтобы мы, пока он не устроится в Челябинске, ехали к его близким в Баку. На период нашего достаточно длительного путешествия от Ленинграда до Баку, родители потеряли связь друг с другом – это было немудрено в первые месяцы войны. Па-

па очень волновался. Используя возможности, предоставляемые работой на гиганте оборонной индустрии, он, пытаясь разыскать нас, еще до нашего прибытия в Баку заслал своим близким несколько правительственных телеграмм, чем заставил их волноваться еще больше. Наконец папа узнал, где мы. За это время он получил жилплощадь на семью, и мы из Баку тронулись в Челябину, как называли тогда в просторечьи Челябинск.

Жилплощадь представляла собой комнату в два окна, общим метражом метров восемнадцать, на втором этаже. Благодаря высокому и длинному «телу» печки, стоящей при входе боком к двери метрах в полутора от стенки, комната имела нишу. Ее удалось удлинить, придвинув к задней части печки столовый буфет и протянув занавеску от буфета до окна. То есть внутри образовалась еще как бы небольшая узкая «комната», составлявшая около трети общей площади. В ней жили буся (бабушка Соня) и Люля (Люба – мамина сестра), приехавшие из Ленинграда прямо в Челябинск (Люля тоже работала в 8-ом ГПИ чертежницей – уже забытая сегодня профессия).

В нашей части комнаты было все необходимое: стол в центре, три стула вокруг него, кровать родителей у окна, маленький диванчик для меня у стены, противоположной окну. И еще бельевой комод, теперь чаще называемый полусервантом. Откуда все это взялось, не знаю – наверно из местных комиссионков. Закуток буси и Люли был обставлен беднее и

теснее. Две кровати там поместиться не могли, и они спали на одной.

Дом, в котором мы жили, был двухэтажный, деревянный. Стоял он вдоль улицы, «спиной» к ней. Между домом и улицей по неясной причине расположился пустырь длиной метров в пятьдесят. Недалеко стоял большой пятиэтажный каменный дом темно серого цвета. Между этим домом и нашим также был пустырь, на котором сохранилось пару каких-то заброшенных сарайчиков-развалюх.

Судя по адресу, – ул. Ленина, 1-а, – наш дом был где-то в центре Челябинска, поскольку улица имени Вождя мирового пролетариата могла быть только одной из центральных. Однако литера «а» в номере дома, намекающая на какую-то дублирующую роль, а также его деревянность и двухэтажность, говорили о том, что долгая и счастливая жизнь для него не планировалась. По-видимому, он был бывшим баракком строителей, который не успели снести до войны. Это оказалось очень кстати в связи с эвакуацией в Челябинск большого числа предприятий из западной части страны.

Все жители дома были также сотрудники 8-ого ГПИ и члены их семей. Наши самые близкие друзья еще со времен работы родителей в Каменске – семья Кравец с дочками Инной, моей ровесницей, и Лилей, которая была лет на восемь старше нас с Инкой, – жили на первом этаже. А на нашем этаже самыми интересными для меня соседями были Хесины. Их взрослый сын Миша – болезненно худой, долговязый

парень, мастерил из дерева чудесные модели самолетов, танков и другой военной техники. Каждая их деталь подвергалась обработке тончайшей наждачной шкуркой, и модельки выходили не просто похожими на оригиналы, но еще и весьма аккуратными и красивыми. Естественно, заполучить такую модель было моей самой заветной мечтой. Но видимо потому, что эта работа была чрезвычайно трудоемка и сложна, Миша очень дорожил готовыми моделями. Если он и демонстрировал их нам, мелкоте, по окончании изготовления, то только из своих рук. А потом они навсегда исчезали с глаз восхищенных зрителей где-то в глубине комнаты Хесиных, в его коллекции.

Однако и на «старуху бывает проруха», и иногда Мишу не удовлетворяла та или иная модель. Причем не удовлетворяла по параметрам, понятным только ему одному. Мне же такие модели казались не менее прекрасными, чем те, которые шли в Мишину коллекцию. И в этих случаях я, как ближайший сосед-мальчик, выражавший к тому же искреннее восхищение его творчеством, иногда получал в подарок такие «бракованные» модели. Это были самые счастливые дни в моей тамошней жизни. Я не расставался с таким подарком ни днем, ни ночью, ни за едой, ни сидя на горшке. Во время умывания я не клал модель рядом, а засовывал себе под рубашку – так было надежнее. Засыпая вечером, в постели, я сладострастно гладил пальцами ее безупречно гладкие поверхности.

Карточки

Позвольте задать вам один вопрос – знаете ли вы что такое карточки военных лет?

Люди среднего возраста, которые застали годы перестройки достаточно взрослыми, должны помнить их очень приблизительный аналог – талоны на некоторые виды продуктов (и даже на винно-водочные товары), которые ненадолго присутствовали в нашем быту в начале 1990-х.

И, тем не менее, значение этих талонов чрезвычайно далеко от той судьбоносной, фатальной роли, которую играли карточки в жизни гражданского населения в годы войны. И без понимания этого многое в ней понять совершенно невозможно.

Война фокусирует практически все внимание государства на том, что связано с фронтом. (Может быть поэтому про каждодневную жизнь населения в тылу известно гораздо меньше, чем про жизнь фронта. Хотя, правда, в последние десятилетия выясняется, что и про нее нам было известно далеко не все, не то, и не так). Лозунг тех лет – «Все для фронта, все для победы!» – это был не просто хлесткий слоган, как теперь говорят, это была действительно самая заветная цель всей страны и каждого ее гражданина. Что касается «отдельного гражданина», то для него эта цель часто была подсознательной – в повседневности, естественно, от-

существовал идеологический пафос собраний, газет и радио.

Итак, кто не знает – пусть знает: в годы войны все снабжение гражданского населения любыми продуктами осуществлялось фактически только по карточкам. Рынок был почти не в счет. Почему? – об этом чуть ниже.

Я не преувеличу, если скажу, что понятия «карточки» и «жизнь» для гражданского жителя военных лет были практически синонимы, поскольку утрата карточек могла привести человека просто к голодной смерти. В блокадном Ленинграде такие случаи не были редкостью. Там случалось и так: близко от прилавка, где давали хлеб, и люди уже начинали доставать глубоко запрятанные карточки, какой-нибудь голодающий доходяга, потерявший от голода человеческий облик, или просто сволочь, выхватывал у человека из рук карточку и убегал. Если его удавалось задержать – его не просто били, а жестоко избивали, как поступили бы с пойманным убийцей. У нас до таких крайностей вроде бы не доходило. Но что утрата карточки ставила человека на грань жизни и смерти – это безусловно.

В Челябинске карточки поддельвали, воровали, а затем продавали на рынке «из под полы»... За их воровство и подделку полагался нешуточный срок. Получить новую карточку при ее утрате было невозможно вследствие жесточайших инструкций, существовавших на этот случай. Не помогали никакие слезы, мольбы, наличие маленьких детей – доживай месяц как сможешь... И в основном это было справедливо,

потому что мало ли найдется хитрованов, которые за лишнюю карточку устроят тебе такой МХАТ, что сам Станиславский не обнаружит и нотки фальши. Но, конечно, бывали исключения. Причем нередко, если не трагические, то драматические – это уж точно!

Ну, а теперь немного о самих карточках – надо же представлять себе что же это такое. Рассказываю то, что сохранила моя детская память. Если в чем и ошибусь, то лишь в несущественных деталях.

Карточки, о которых я веду речь, – это отнюдь не какие-нибудь прямоугольные кусочки картона или толстой бумаги. Это листы примерно формата № 5 (15x21 см) обычной по толщине, но специальной цветной бумаги, с напечатанной на ней мельчайшей сеткой или мельчайшим рисунком, напоминающим «чешуйки». Наподобие того, как это делается на денежных купюрах, чтобы затруднить подделку. Вы может быть не поверите, но я, – в те годы четырех-десятилетний ребенок (карточки существовали еще пару лет после окончания войны), – помню их внешний вид, как будто я их видел вчера – еще одно доказательство их важности в нашей тогдашней жизни.

Листы эти были разграфлены на талоны с надписью вида и количества продукта (или товара), который можно выкупить по данному талону. Талоны были на мясо, на жиры, на мучные изделия (хлебные талоны), на крупы и т. д. и т. п. При покупке товара, кроме получения денег за стоимость то-

вара, продавщица обычными ножницами вырезала из карточки соответствующий талон и отчитывалась ими. И деньги при этом были далеко не главным обеспечением покупки, – главным был талон. Карточки выдавались ежемесячно. Если от предыдущего месяца оставались талоны, то в следующем месяце они уже, в большинстве случаев, были недействительны.

Цвет карточки тоже о многом говорил, поскольку они были «продуктовые» и «промтоварные». Кроме того, карточка могла быть «рабочая», «служащая», «иждивенческая» и «детская». И это было далеко не формальное различие – количество продуктов каждого вида, которое можно было «отovarить» (был такой термин) по каждой из этих карточек, весьма существенно различалось. Работать на должности, которая позволяла получать «рабочую», а не «служащую» карточку, считалось немалой удачей. Гораздо большей, чем должность с более высокой зарплатой, но при той же «служащей» карточке.

На крупных предприятиях были рабочие столовые. Но и там нельзя было поесть просто за деньги – в зависимости от того, какое блюдо ты брал, из карточки вырезались соответствующие талоны.

Продукты по карточкам не выдавались, а выкупались. Тем не менее, в обиходе были выражения «по карточке дают» (а не продают), «отovarить карточку» (а не купить по карточке), что показывает явную второстепенность денег в обыден-

ной жизни людей в то время. Жестко регламентированные зарплаты рабочих и служащих были таковы, что денег на отоваривание карточек у большинства людей, как правило, хватало, но после этого от зарплаты ничего, или почти ничего не оставалось. Тем не менее, в некоторых наиболее бедных семьях бывало так, что к концу месяца оставались неотоваренные талоны (не на продукты, конечно) по причине именно отсутствия денег.

Иногда часть талонов оставалась неотоваренной не только у самых бедных – снабжение населения велось, как теперь говорят, «по остаточному принципу». И потому товаров и продуктов часто не хватало для полного обеспечения даже карточек по таким жизненно необходимым позициям, как мясо, масло или наиболее ходовой ширпотреб. Иногда приходилось часами простаивать в очередях, чтобы отоварить столь ценные талоны – не дай Бог, если останутся по истечении месяца, то есть попросту пропадут.

Конечно, в принципе на рынке можно было купить продукты без карточек, только за деньги, или поменять на них ценные вещи. Но практически для всех такая возможность была только теоретической – цены там были заоблачные, а вещей, подходящих для обмена на продукты, у эвакуированных фактически не было. С этими вещами, если они у кого когда-то и были, их вынудили «расстаться» еще в голодные годы «военного коммунизма» и первых пятилеток (вспомните торгсины). Так что рынок для подавляющего большинства

был столь же доступен, как сегодняшние бутики на Невском с моднейшими брендами для полунящего дворника-мигранта из Таджикистана.

«Гастрономические изыски» тыла

Наша будничная жизнь была, как я теперь понимаю, полна забот и лишений. Помню, что моей мечтой было досыта наесться ...картошкой «в мундире». Данный способ ее приготовления был у нас наиболее популярен. (наверно, вследствие своей предельной малоотходности). Но независимо от этого, вкус картошки в мундире (конечно, после снятия шкурки) мне нравился больше, чем при любом ином способе ее приготовления. И тут Судьба сыграла со мной довольно издевательскую шутку. Особенно, если учесть, что она имела дело с маленьким ребенком.

Однажды мне довелось реализовать это мое заветное желание почти полностью. Но так случилось, что когда, урча от удовольствия, я насыщался картошкой, то уже был болен чем-то вроде гриппа. Но еще в инкубационном периоде. Вскоре последовал резкий скачок температуры, который при набитом желудке привел к особенно дурнотному состоянию. Следствием этого явилась чрезвычайно стойкая связь в мозгу между вкусом картошки в мундире и состоянием предельной дурноты. В результате после этого случая, как только я, не то что ел, а лишь обонял характерный запах пара от картошки в мундире, мне становилось плохо, меня начинало мутить и т. п.

И, представьте, это продолжалось не год, не два, а лет два-

дцать. Сколько неприятных моментов я пережил из-за этого в мои пионерские и студенческие годы, сколько раз оставался голодным, когда в походах коллектив высказывался за картошку в мундире.

... Но все, что имеет начало – имеет и конец. Иногда, особенно к финалу жизни, конец и начало смыкаются – то есть все возвращается «на круги своя», в исходное, так сказать, состояние. Вот и сегодня, спустя более полувека после описанных выше событий, перед тем как усесться перед телевизором, чтобы посмотреть очередной футбольный матч с участием «Зенита», я для усиления удовольствия от просмотра стелю на журнальный столик салфетку, ставлю на нее бутылку пива «Балтика-3», селедку холодного копчения с луком и подсолнечным маслом и, конечно, тарелку с еще горячей... картошкой в мундире.

Но даже при тогдашней голодухе была еда, от которой меня воротило со страшной силой – и тогда, и до сих пор, и, безусловно, будет воротить всегда.

Многие наверно найдут даже непристойной, какой-то мазохистской мою настойчивую попытку описать столь тошнотворное, (прежде всего, для меня самого) блюдо, которое и человеческой-то пищей в благополучное время мало кто назовет. Но оно было очень типично для самого тяжелого периода эвакуации. Поэтому, собрав в кулак всю свою решимость, я все же заставлю себя вспомнить и описать эту га-

дось. К тому же в то время это «блюдо» или «продукт», если можно такими обыденными, нормальными словами назвать эту гадость, считался даже дефицитным. Причем для многих весьма желанным, поскольку достать его было не так-то просто. Вот оно – разновкусие людей, широко проявляющееся и в наше время, причем не только в вопросах гастрономии.

Дело в том, что мясо как таковое практически отсутствовало в нашем рационе. При отоваривании мясных талонов продуктовых карточек его обычно чем-то заменяли – кажется яичным порошком, или чем-то другим, – чем именно точно не помню. Но даже не субпродуктами.

Из заводской столовой папа иногда приносил полученные на эти талоны котлеты. Однако, не подумайте, что мясные. *Кровяные!*

Знаете ли вы что такое кровяные котлеты? Навряд ли. Так вот, дай вам Бог никогда не узнать это на собственном опыте. Думаю, большинству будет достаточно и моего рассказа. Правда, это мои субъективные вкусовые ощущения, которое вы вправе и не разделять.

Тогдашние кровяные котлеты – это сгустки свернувшейся, чаще всего свиной крови, которые слегка поджарили на сковородке. В столовую при папиной работе эти сгустки поступали непосредственно с мясокомбината. Кажется, у многих народов Севера или Средней Азии такое кушанье считается тонким деликатесом. Некоторые из людей самых что ни на есть европейских национальностей, в те годы эти «кот-

леты» тоже считали приемлемым кушаньем, хотя чрезмерного восторга при их поедании не выражали. Но в виду отсутствия альтернативного источника животных белков полагало возможным употреблять в пищу этот экзотический продукт. Искренне завидую им, поскольку при первой (и, надеюсь, последней) попытке это сделать, я, доверчивое и голодное дитя, пережил такое отвращение и конфуз, с которыми мне в дальнейшей жизни приходилось встречаться нечасто. Отделив ложкой и проглотив довольно увесистый кусок этого кушанья,... я замер с открытым ртом по причине невозможности ни вдохнуть, ни выдохнуть... Вытаращив глаза и замерев от отвращения, я оказался не в силах сдержать возникший рвотный позыв. Это привело к соответствующим печальным для окружающих последствиям. И к дополнительным проблемам, которые я создал маме, пытавшейся найти способ ввести в мой растущий организм хотя бы минимальное количество животных белков, минуя мясо – типовой продукт, используемый для этой цели большинством человечества.

Кому же доставалось мясо тех свиней и коров, кровь которых шла на приготовление упомянутого выше «деликатеса»? Ведь мы жили в большом промышленном городе, «ковавшем в тылу нашу победу», – было тогда такое ходовое выражение в советской печати. И пусть по весьма скудным нормам военного времени, но должен же он был снабжаться обычным мясом?

И рождается мысль о связи времен, – того времени и нашего. Особенно, когда читаю в прессе о «чемпионстве» России (первое место) по коррупции, – одной из модификаций воровства, – среди чиновников 26-ти ведущих стран мира. Или вспоминаю недавний «конкурс» при выборах в Государственную Думу – чуть ли не по дюжине «борцов за народное счастье» на место ... И волей-неволей сопоставляю это с воспоминаниями ленинградца, который во время блокады работал кажется в обслуге дома, где жил Попков – председатель блокадного Ленсовета. Он выжил лишь благодаря тому, что питался из его помойного ведра, стоявшего на лестничной площадке.

А вот еще записки летчика ленинградского фронта, частенько возившего во время блокады на своем самолете с «большой земли» в вымирающий от голода город вместе с прочим служебным грузом какие-то ящики «особой важности», как ему декларировало начальство. Однажды случайно у одного из ящиков продавили крышку – там оказались персики. Как выяснилось, лично для товарища Жданова!

Я знал, что такое белый батон. Знал из рассказов взрослых, из картинок в детских довоенных книжках, знал... Но никогда не видел его в натуре.

Конечно, до войны я ел белый хлеб в виде батона. Но это было до войны, когда я был еще слишком мал, и абсолютно не фиксировал свое внимание от чего отрезаются ломтики

белого хлеба, которые я равнодушно жевал как обязательное приложение к какой-нибудь скучной еде.

В Челябинске же в моем детском сознании прочно утвердилось убеждение, что батоны едят только генералы. Для ребенка моего возраста в годы войны генерал был самое высокое должностное лицо, которое он только мог себе представить. Все, что выше генерала – было уже за гранью понимания.

Белый батон в моем представлении был столь же недостижимым лакомством, как, допустим, для сегодняшних детей из предельно глухой сибирской деревушки или эвенкийского оленеводческого чума «райское наслаждение» – импортные конфеты «Рафаэлло», или шоколадные трюфеля, или... А, вероятней всего, еще недостижимей, поскольку указанные выше лакомства может быть хоть раз за все детство, но любящий дремучий родитель и привезет своим чадам из райцентра. Я же не мог получить свою мечту даже не вследствие ее запредельной дороговизны, а по причине вульгарного отсутствия в природе – с началом войны наша хлебопекарная промышленность, по-моему, их просто перестала производить. Ей было не до изысков формы. Буханка – вот чуть ли не единственный вид хлебобулочных изделий в военные годы. Можно было случайно где-нибудь увидеть буханку хорошего белого хлеба (то, что мы ели в Челябинске в качестве белого хлеба, сегодня белым хлебом назвать довольно трудно), но батон – никогда. И, между прочим, это продолжалось

еще два-три года после войны. Батоны, во всяком случае в Ленинграде, куда мы вернулись после эвакуации, по-моему, стали выпекать лишь где-то в году 1947-1948-ом.

Но мечта попробовать его жила. Я хорошо помню, что периодически мне даже снились сны с участием белого батона в качестве не последнего по важности «действующего лица».

Дети – фронту, фронт – детям

Есть у меня мерзкая, какая-то плюшкинская манера – когда мне в руки попадает что-то особенно памятное и потому ценное, я для большей сохранности засовываю эту вещь (или письмо, фотографию, документ и т. п.) куда-нибудь подальше, сосредотачиваю свою память, чтобы запомнить место, и, конечно, ... довольно скоро забываю куда положил. Дергаюсь, злюсь на себя... Но следующий раз все повторяется сначала.

Так было и в тот раз, когда относительно недавно, разбирая мамины вещи, я нашел мешочек, размером с сегодняшний мешок для сменной обуви первоклассника, сшитый из довольно ветхой синей ткани, явно бывшей в употреблении до того, как она была использована для изготовления мешка. Красными нитками письменными буквами на мешке вышито: «Дорогому бойцу Красной Армии от Милика Гермера». Конечно, вышивал эту надпись не я, а мама или бабушка. И почему этот мешочек остался у нас дома неиспользованным по назначению, я не помню. Но он дал толчок моей памяти, и я вспомнил довольно трогательную кампанию, проводившуюся в тылу во время войны.

Нечасто, по-моему, раза два в год, наших родителей просили передавать с нами в детский сад такой вот мешочек с вышитой надписью, подобной той, которая приведена выше.

В него полагалось класть пачку табака или папирос, кажется кусок мыла, и что-нибудь вкусненькое, но способное выдержать путешествие на фронт, – пачку печенья или сухих вафель (можно и собственного изготовления, но конечно без крема), конфеты и т. п. Затем в детском саду мы рисовали рисунок, который вкладывался в такую «именную» посылку. Что касается старшей группы, где дети уже знали буквы и некоторые чуточку умели писать, то можно было сделать подпись к рисунку или даже написать детскими каракулями «письмо» из нескольких слов. Эти мешочки собирались, зашивались и организованно отправлялись на фронт, в действующую армию. Неглупый человек это придумал. И я не припомню случая, чтобы ребенок даже младшей группы польстился на содержимое такого подарка на фронт, пока нес его в детский сад. Такого «не могло быть, потому что не могло быть никогда!»

Конечно, формирование таких посылок может быть и создавало некоторые проблемы для наших семей, особенно для наиболее бедных. Но на это никто не роптал. Одной из серьезных проблем было изыскать кусок ткани для пошива мешочка. Это было не так-то просто в те годы – любая мануфактура была на вес золота. Новые вещи, – что для взрослых, что для детей, – в наших семьях практически не появлялись. Я всю войну и много лет после ходил в чем-то перешитом из старого маминого или папиного гардероба. Из таких же «подсобных», бэушных материалов, естественно,

выделялась ткань и для этих детских фронтовых посылок. Если ткань оказывалась слишком ветхой, то мешочек могли забраковать или сами родители, или уже в детском саду – тогда он переделывался. Наверно тот мешочек, который сохранился у мамы, как раз и был отбракован. И, слава Богу, как ни странно. Иначе где еще было бы найти такой экспонат, достойный, по-моему, любого, самого серьезного музея Великой Отечественной войны? Я, во всяком случае, их в таких музеях не видел.

«Дядя» Боря, старший лейтенант, был молодой парень лет двадцати – родственник семьи Кравец, наших друзей, живших на первом этаже. Он оказался в Челябинске, приехав получать для фронта танки, которые делались на эвакуированном Кировском заводе. Мама пригласила дядю Борю к нам в гости, на второй этаж, и он пришел.

Абсолютно никаких деталей этого визита я не помню, поскольку все мое внимание было поглощено игрушкой, которую принес дядя Боря. Это была явно самодельная пустотелая мышка с ушками, носиком и глазками-бусинками. В ее «тело» снизу были вставлены две обычные катушки от ниток, а из спинки через дырочку пропускалась тонкая резинка, с одной стороны намотанная, по-моему, на одну из катушек, а с другой – закрепленная на поперечной палочке, лежащей на спинке мышки. Если, придерживая мышку, покрутить палочку, то резинка закручивалась, и после того, как

мышка отпускалась, она резво бежала по столу.

По-моему, это была первая в моей жизни «заводная» игрушка, которую я увидел в возрасте, когда уже мог в полной мере оценить достоинства и прелесть такого «самодвижущегося устройства». До войны я, видимо, был еще слишком мал или мне не покупали настоящих заводных игрушек в силу их дороговизны.

Точно помню, я решил, что дядя Боря просто пришел показать нам, какая интересная вещь имеется у него. Чуть ли не похвастаться. Меня обуревала вульгарная зависть и еще какие-то сложные чувства к герою-фронтовику, владеющему таким уникальным предметом.

Дядя Боря пару раз продемонстрировал как шустро и долго способна мышка бегать и по столу, и по полу.... И вдруг оказалось, что эта мышка предназначена... мне! Охватившие меня чувства описанию не поддаются. Не только тогда – в силу еще недостаточного владения родным языком, – но, пожалуй, и сейчас я не смогу это выразить со всей достоверностью и полнотой.

Папа

Мой папа был, как часто говорят, строг, но справедлив. По рассказам мамы, он очень меня любил (что, впрочем, и положено природой), но считал весьма непедагогичным нюнькаться с ребенком, особенно с мальчиком, потворствовать его чрезмерным шалостям или непослушанию. Однако я не помню, чтобы он меня наказывал – было достаточно, когда он становился просто строг со мной.

Папа был тяжело больной человек – у него была серьезная язва двенадцатиперстной кишки, которую он нажил еще в студенческие годы (1918–1925) плохим и весьма нерегулярным питанием, живя один в Петрограде и учась в Политехническом. До войны он более-менее успешно боролся со своей язвой – диета, периодически санатории, а после женитьбы еще и мамин уход. Кроме диеты и режима, язвенникам строго противопоказано нервничать и перенапрягаться. Соблюдать эти условия было всегда непросто, а с началом войны просто невозможно: о диете нечего и думать, работа по десять-двенадцать часов и более, сплошные нервные перегрузки. Ведь Кировскому заводу надлежало на новом, неприспособленном месте наладить выпуск танков в нереально сжатые сроки – приказ лично Сталина. Да еще частые командировки в Барнаул, где смежники что-то делали для их танков... Папа за год постарел лет на десять. Участились

приступы... Короче, он держался, как говорится, на одном характере.

Осенью 1942 года его состояние стало критическим. Было решено пригласить для частной консультации какую-то киевскую знаменитость – в Челябинске после начала войны дефицита в эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Киева и т. п. медицинских светилах не наблюдалось. Вопрос к знаменитости был один – делать операцию срочно или лучше подождать? Полостная операция для измученного и истощенного человека – дело весьма рискованное, но еще рискованнее, а, проще говоря, фактически фатально, – довести дело до прободения язвы. Знаменитость пришла, осмотрела папу и сказала, что с операцией лучше подождать. Через несколько дней у папы случилось прободение!

Я стоял среди многочисленных соседей, столпившихся в коридоре. На меня никто не обращал внимание – не до меня было. Папу на носилках, поднятых несколькими мужчинами вверх на вытянутые руки, проносили из нашей комнаты на лестницу, и далее – в «скорую помощь». Я был пятилетним крохой, но те секунды, когда рядом, фактически над моей головой проплывали эти носилки с папой, покрытым нашим шерстяным одеялом с бело-зеленым узором, я очень четко запомнил на всю жизнь.

Через несколько десятков лет – мы с мамой уже жили раздельно – я увидел у нее среди фактически ненужных вещей, но которые она еще не решалась выкинуть, это, уже довольно

изношенное бело-зеленое одеяло. Выяснилось, что она совершенно не помнит, что именно им папа был накрыт тогда... А я запомнил.

...Непосредственно операция прошла успешно. После операции папу положили в реанимационную палату. Он пришел в себя после наркоза. Маму к нему еще, конечно, не пустили. Но, радуясь благополучному исходу операции, она написала ему нежную и полную оптимизма записку:

«Исенька, дорогой! Доктор сказал, что операция прошла благополучно. Я несказанно рада. Теперь приходи в себя, и приложим все силы...». Держа в руках эту записку, папа... умер на следующий день после операции!

Оперировавший хирург сказал, что если бы операцию сделали хотя бы за полчаса до прободения язвы, то папа выжил бы... Но при столь истощенном организме... В общем, все дело решили несколько «если бы». Вот так вот мама в двадцать девять лет стала вдовой, а я в свои пять – сиротой. Но кого этим удивишь в годы тяжелейшей, кровопролитной войны?...

В 2006-ом году, разбирая с моим младшим сыном Даней мамины вещи после ее кончины, я еще раз увидел это одеяло. Оно, потертое во многих местах и сильно траченное молью, лежало в ее кладовке. Я долго смотрел на него, не зная, что с ним делать. Наконец, я аккуратно свернул его и положил в мешок с вещами, предназначенными... на выброс. Я сам

понес выбрасывать этот мешок, как если бы провозжал в последний путь близкого человека...

Жертва «любви» тыловой модификации

Как-то зимним днем мама повела меня по какой-то надобности в детскую поликлинику. Мы, не торопясь, шли по тротуару одной из небольших улиц в центре города. Вдруг из-за угла появился человек, бегущий посередине неширокой булыжной мостовой. Мужчина средних лет был худым, с довольно интеллигентным лицом, в очках, в длиннополом цивильном драповом пальто, но без шапки... В руках он держал большой, плотно набитый чемодан. Было видно, что бежать с таким большим, тяжеленным чемоданом, да еще по булыжной мостовой, ему совсем нелегко, но ...надо – видимо сильно куда-то опаздывал. Когда он пробежал мимо нас, я заметил его решительное лицо, напряженный профиль, и... неплотно закрытый, – только на один из двух замков, – чемодан, из которого чуть ли не целиком вылезал какой-то предмет одежды. Бежал он ровно, ритмично, отчего его бег не выглядел быстрым... Только спустя много лет, вспоминая изредка эту сцену, я оценил жилистую силу и выносливость этого человека.

Когда он почти достиг конца улицы, из чемодана вывалилась-таки торчащая из щели вещь. Человек не мог этого не заметить. Тем не менее, он не сделал ни малейшей попытки поднять ее, и также равномерно продолжил свой бег. Добе-

жав до конца улицы, он, не снижая скорости, пересек люд- ный проспект, и скрылся за углом той улицы, что утыкалась в проспект с другой стороны, но несколько ассиметрично той, по которой мы шли. Немногочисленные прохожие стояли, удивленно глядя ему вслед, раскрыв рты, и не успев сформи- ровать в своих мозгах какие-либо причинно-следственные связи. Вся сцена заняла не более десяти, ну пятнадцати се- кунд.

Буквально через пару секунд после того, как этот стран- ный человек с чемоданом скрылся, из-за угла, откуда он только что появился, выскочила без пальто, взлохмаченная тетка базарного вида, которая с дикими воплями – «Батюш- ки, обокрали!!! Держите вора!!...» – мчалась, спотыкаясь о булыжники мостовой. Ей все стали показывать куда он по- бежал. Она бросилась в том направлении, но буквально мет- ров через двадцать темп ее «погони» стал заметно замед- ляться, пока не перешел в быстрый, но уже спотыкающийся шаг... Было видно, что сердце вот-вот выскочит из ее бур- но вздымающейся необъятной груди, ... еще секунда, и ей самой стала ясна бесполезность попытки догнать вора. Она стояла посреди улицы с безнадежно повисшими вдоль тела руками, и почти беззвучно плакала. Слезы бурным потоком текли по ее лицу, а частое дыхание прерывалось такими иск- ренными, сочными всхлипами, что у окруживших ее людей прямо сердце разрывалось от жалости... Но поезд, как гово- рится, уже ушел.

Все оказалось так просто, так обычно для военного времени. Из ее сбивчивого рассказа окружившим ее женщинам-прохожим, прерываемого периодически усиливающимися потоками слез, выяснилось, что она только вчера познакомилась с этим мужчиной. Он был таким обходительным, так внушал доверие всем своим интеллигентным видом. Особенно очками, которые к тому же вполне убедительно объясняли присутствие совсем еще нестарого гражданского мужчины в военное время в нашем тыловом городе. Где ему, увы, даже негде переночевать... Словом, взяла она его к себе, напоила, накормила и спать уложила, – естественно, вместе с собой, на свое, давно одинокое бабье ложе. Видимо в определенном смысле он ее ожиданий не обманул. Утром, порхая как на крылышках, назавтракала его от души, по максимуму своих скудных возможностей. И буквально на секундочку выскочила к соседке поделиться-похвастаться своим минутным бабьим счастьем... Ну, а когда она через эту самую «секундочку» возвратилась, то даже ее заскорузлomu мозгу, непривычному к синтезу и анализу, не потребовалось много времени, чтобы понять, что означают раскиданные по всей комнате вещи в сочетании с отсутствием случайного сожителя и единственного большого чемодана...

Но драму случившегося с этой женщиной ну просто невозможно постичь сегодня. Подумаешь, лишилась чемодана каких-то бабских тряпок, тоже мне – «шмотье от

кутю»... Но вспомните, что в годы войны стоили эти обычные, вульгарные довоенные шмотки. Вся барахолка, вся рыночная торговля сводилась, по существу, к их обмену на продукты. Попробуй прокормиться даже не на «иждивенческую», а хотя бы и на «служашую» карточку? Даже, если хватит денег, чтобы отоварить ее? Так что подобные тряпки были тогда полноценным эквивалентом сегодняшней валюты или драгоценностей. Настоящие же золотые кольца, браслеты, камушки и тому подобное мало у кого сохранилось к началу войны – после всего пережитого в революцию, голодные годы военного коммунизма, торгсиновских соблазнов и т. д. А кому не суждено это понять, тому не объяснишь...

Я как учебное пособие для девочек

В моей семье работали все. Даже бабушка. Рабочий день был ненормирован – раньше официально положенного часа он никогда не заканчивался, а вот значительно позже довольно часто. Учитывая, что я уже ходил в старшую группу, мне, как и большинству моих товарищей, было разрешено, особенно летом, возвращаться из садика домой самому, часов в шесть. Благо садик от нашего дома отделял лишь хорошо знакомый и детям и взрослым пустырь, где, слава богу, никаких происшествий пока ни с кем не случилось. Спешить некуда, на улице светло, и потому часто этот путь занимал у меня довольно много времени. Особенно, если среди нескольких сараев, оставшихся на пустыре со времени предвоенного строительства в нашем микрорайоне, шла какая-нибудь игра сверстников. Естественно, на 99,9 % это были игры в войну, то есть «наши» против «фрицев». При этом выявить кто победил чаще всего было невозможно. Не только потому, что отсутствовали какие-либо четкие правила таких игр, или хотя бы час, когда они должны были заканчиваться, а, главным образом, потому, что обе противоборствующие стороны считали себя «нашими».

Я был ребенок, что называется, без комплексов, почти что «дитя улицы», – ну кому было меня воспитывать при такой перегрузке взрослых? «Моими университетами» в основном

был этот самый пустырь. А «профессорско-преподавательским составом» – мои же более хулиганистые ровесники или мальчишки и девчонки чуть постарше. Отсутствие у меня комплексов включало, увы, и довольно ограниченную стыдливость. Появлению этого недостатка (по мнению некоторых, – достоинства), по-видимому, способствовало наличие в семье после смерти папы одних женщин. Они купали, одевали и передевали меня, и вообще осуществляли все прочие действия по уходу за ребенком, естественно, абсолютно не обращая внимания на мою гендерную принадлежность. То ли это мое бесстыдство девчонки чувствовали на подсознательном уровне, то ли вследствие чего иного, но, факт остается фактом, – компания, состоящая из сверстниц и девочек чуть постарше, вовлекла меня в довольно сомнительное, так сказать, с морально-этической точки зрения, развлечение.

Как это началось, сколько раз повторялось, и кто конкретно был организатором и вдохновителем, или даже просто участниками этого безобразия, память, увы, не сохранила. Заклучалось оно в том, что группа девочек в четыре-пять человек подкарауливала меня около какого-нибудь из сараев, когда я шел из детского сада.

– Милька, пойдем?! – следовал вопрос полувопросительным, полуприказным тоном. Обычно я, как помнится, особенно не возражал.

В сарае по всем интуитивно соблюдаемым законам дра-

матургии, чтобы не превращать столь запретное и трепетное действие в обыденщину и рутину, я делал вид, что не понимаю зачем девчонки пригласили меня в сарай. Этим приемом я заставляя их брать инициативу на себя.

– Ну, давай же, чего ты стоишь, как дурак?! – следовала просьба-приказание.

Я не торопясь, с чувством «собственного достоинства», с учетом всей серьезности момента и запретности осуществляемого действия, снимал с плеч лямки своих коротких штанишек и доставал из трусов ... свои два сантиметра. Девочки, стоявшие передо мной затаившей дыхание кучкой, внимательно изучали демонстрируемый «аксессуар». Только визуально, тактильное изучение негласно исключалось.

Чтобы «объект изучения» был достаточно хорошо и всесторонне виден всем присутствующим, мне приходилось поддерживать его двумя пальцами правой руки, поскольку никаких эмоций возбуждающего характера я по малолетству еще не испытывал. Демонстрация длилась около минуты, после чего я спокойно возвращал «учебное пособие» обратно в трусы и натягивал на плечи лямки штанишек... – сеанс был окончен.

Слегка ошеломленные увиденным, девочки покидали сарай молча, по одной, как подпольщики после нелегальной сходки. Еще несколько секунд сохранялась некоторая неловкость, после чего я, как ни в чем небывало, продолжал свой путь домой, а девчонки оставались... Что и в каком ключе

обсуждали они увиденное, и обсуждали ли вообще, или сохраняли полученное впечатление в глубине своей потрясенной девчоночьей души, мне, увы, неведомо. Я даже не могу и сегодня решить – положительную или отрицательную роль сыграли эти первые краткие уроки анатомическо-сексуального ликбеза с моим участием в их последующем общении с мужчинами, в их, так называемом, «половом воспитании».

Учебным пособием для девочек, но уже несколько более зрелого возраста, мне довелось поработать и спустя некоторое количество лет, уже после возвращения в Ленинград из эвакуации. Нет-нет, уберите свои пошленькие ухмылки, я имею в виду не то время, когда я стал уже молодым человеком, и в дополнение к визуальному восприятию моих гендерных отличий мог предложить ровесницам кое-что еще. Речь все еще идет о периоде моего розового детства.

В десять лет я заболел скарлатиной и угодил в инфекционную больницу, – так называемые, «Боткинские бараки». Больница сохранила в народе это название на много лет – даже когда уже представляла собой ряд современных многоэтажных лечебных корпусов. Но тогда это еще были действительно самые натуральные бараки. По-видимому, в основном в том виде, как они были построены еще до революции, для самого что ни на есть простого люда. Судя по названию, не без участия известного ученого-бактериолога профессора Боткина.

Практически весь барак, где я лежал, представлял собой единую палату коек на сто двадцать-сто пятьдесят, если не больше. Койки стояли ряда в четыре. Надеюсь, что там лежали только больные скарлатиной.

Высокая температура вскоре спала, я шел на поправку, и все бы ничего, если бы я не оказался обладателем какой-то образцово-показательной сыпи. При этом даже в тех деликатных местах, где она встречается редко. Это послужило причиной ужасно унижительной в моих глазах процедуры. Причем, подвергали меня ей врачи, не подозревая в какое стрессовое состояние они этим ввергают меня. Почти ежедневно, и на виду всех близь лежащих больных, студентам-медикам демонстрировались я и моя сыпь. Естественно, главной была сыпь. Но мне от этого было не легче, поскольку тогда, как и сейчас, основную массу этих студентов составляли девушки. От меня требовалось встать в кровати в полный рост, спустить штаны больничной пижамы до самого низа, а курточку задрать до подмышек. После этого врач минут пять давал объяснения, используя меня как наглядное учебное пособие, или, если хотите, как неодушевленный муляж.

В подобном качестве использовался не я один, но лишь мне выпало при этом демонстрировать себя с обнажением всех самых деликатных мест, имеющихся в моем распоряжении.

Драматичность ситуации усугублялась еще и тем, что к тому времени я уже был обладателем не только уникальной сы-

пи, но также слегка гипертрофированной стыдливости приближающегося подросткового возраста. А девушки-студентки по возрасту, увы, еще никак не годились мне в матери.

Мальчишки-соседи быстро усекли мое смущение во время этих сеансов, и, естественно, устроили себе из этого развлечение. Появление в бараке студентов тотчас вызывало чрезвычайное оживление моих соседей. Они бросали все, чем бы ни занимались, и целиком отдавались тому, как бы из моего унижительного положения извлечь максимум удовольствия для себя. По мере продвижения группы от одного демонстрируемого больного к другому в направлении моей кровати их возбуждение возрастало. Оно достигало апогея, когда я замирал с задранной курточкой и спущенными штанами.

Главным образом для достижения цели использовались всяческие ремарки типа

– Гермер, ты чего штаны не до конца спустил? Ниже давай! Доктор, он халтурит!..

Иногда в группе находились достаточно чуткие и деликатные студентки, которые улавливали мое крайнее смущение, и по этой причине сами начинали слегка смущаться. Это делало мое состояние совсем невыносимым. Но врачи были абсолютно невосприимчивы к подобным сантиментам, комментариям моих соседей и т. п., используя меня по полной – столько, сколько они считали нужным. А на бунт, да еще против врачей, мне не хватало смелости юного партизана,

хотя и был я кое-что испытавшим дитем военных лет.

В общем, большей пытки стыдом я, по-моему, не испытывал в жизни ни до, ни после.

«Я с детства был испорченный ребенок...»

Эту заповедь большинство людей (главным образом, почему-то мужского пола) нарушает, пожалуй, самой первой – уже в детстве. Даже дети, как принято говорить, интеллигентных родителей. Вероятно это в человеческих генах – склонность разной степени к воровству, поскольку данный грех известен чуть ли не со времен появления *homo sapiens*. И даже его предшественников – кто не знает вороватость обезьян?

...На бревнах, сваленных для неизвестной мне надобности у соседнего, через пустырь, шестиэтажного дома, сидели человек пять знакомых мальчишек, и что-то активно обсуждали. Больше всех суетился Сергуня – шустрый, худенький блондин, в штанах, застегнутых на одну пуговицу, постоянно сползающих с его хилого зада, в линючей, замызганной серой рубаше. Петруха, главный среди соседской мелюзги, невысокий плотный мальчишка лет одиннадцати, но с повадками уже бывалого парня, с несуетливым взглядом серых тусклых глаз, вроде бы равнодушно сидел, не принимая участия в общей оживленной беседе. По-видимому, как обычно, оставляя свой вердикт на заключительную стадию обсуждения. Он, как всегда, был в пилотке, поддерживаемой

ушами, и в штанах, подпоясанных солдатским ремнем.

На мое неуверенное «здрaсте» никто и внимания не обратил. Обсуждался животрепещущий вопрос всех времен и народов – где достать деньги?! Деньги нужны были, чтобы купить конфеты.

...Одним из немногих, если не единственным, доступным сладким лакомством у челябинской малышни военных лет были конфеты из самодельной патоки. Получали ее из каких-то отходов сахарного производства. Были умельцы, которые разработали технологию получения такой патоки и конфет из нее в домашних условиях. Где они брали сырье? Как говорится, большой-большой секрет. Ну, может и не такой уж большой, но я в свои четыре-шесть лет его конечно не знал.

Важнейшей особенностью таких конфет была возможность приобретения без карточек, непосредственно за деньги. Это существенно облегчало их доступность, – на рынке, а частенько и просто «с рук» у продуктового магазина.

Без карточек, только за деньги – это прекрасно. Но где их взять эти деньги. Они хоть и не продуктовые карточки, но тоже на дороге не валяются. Изысканием путей их нахождения, – от легальных до уголовно наказуемых, – и были заняты мои старшие знакомые. Ну, старшие – это конечно понятие относительное. Старшие они были лишь относительно меня. А вообще-то такая же мелюзга, только лет восьми-десяти. Но уже школьники, не как-нибудь! Это придавало им

в моих глазах немалый авторитет. Ах, как мне хотелось обратить на себя их внимание, быть отмеченным. Или хотя бы замеченным. Как правило, мое присутствие в этой компании просто терпели, не вовлекая, по моей крайней мелкости, в обсуждение всяких текущих проблем и вопросов.

...Все легальные пути добывания наличности были давно исчерпаны. Да и нелегальные фактически тоже. Представляете какой фурор в этих обстоятельствах произвело мое заявление, что я могу достать деньги? Вдруг, в одну секунду, я привлек к себе внимание таких авторитетов, о непосредственном общении с которыми ранее и мечтать не мог. Вы думаете кто-нибудь поинтересовался каким образом? Если бы. Им было глубоко наплевать каким – главное, что могу. И все!

Этим легкомысленным обещанием я сразу влип, как муха в ту же патоку. Теперь, если я его не выполню, то просто стану парией (по взрослой терминологии). Со мной не просто никто не будет водиться, а начнут третировать по любому поводу и без повода. Все это я прекрасно понимал, несмотря на детсадовский возраст. Что я имел в виду, когда делал это безответственное заявление? Даже сам себе толком объяснить не мог. Ляпнул, чтобы обратить на себя внимание, а как буду выполнять обещание – абсолютно не представлял.

– Когда притащишь-то? – по деловому осведомился Петруха, лениво окинув меня своим щучьим, цепким взглядом. Тут у меня хватило ума хотя бы не связывать себя конкрет-

ным сроком. – Ну-у, ... как достану, – сказал я еле слышным, растерянным голосом.

– Да не принесет он ни фига, откуда ему взять? – заявил Сергуня, явно подначивая меня.

– Ну, смотри, Милька, если трепанул – получишь, и не слабо. Чтобы не болтал языком без дела.

Они поговорили еще о чем-то. О чем, уже не упомяну, так как был озабочен только одной мыслью. Понятно какой... Потом разошлись.

Я ломал голову до изнеможения. Но ничего, абсолютно ничего придумать не мог. Чтобы попросить у мамы или у бабушки, к тому же сумму, которая могла бы обеспечить хотя бы минимальные потребности всей компании, – об этом и речи быть не могло. Это был бы гарантированный отказ, да еще с проведением дотошного следствия: для чего мне нужны такие деньги, да кто это меня подначил просить, да что я не знаю, как деньги трудно достаются, а я... и т. д. и т. п. – со всеми вытекающими, буквально роковыми для меня последствиями.

Меня охватило чувство безысходности. Ну, в общем, думаю, вы понимаете. В переводе на взрослую ситуацию, это было равносильно, например, огромному долгу мелкого ларечника, который он не в состоянии отдать, серьезной бандитской шайке, долгов не прощающей.

Но один вариант все же мелькнул у меня в голове. Я его отгонял, как абсолютно неприемлемый, а он, как навязчи-

вая муха, возвращался. Причем по мере того, как я не мог придумать ничего другого – возвращался все чаще, и все настойчивей.

Я уже два дня, идя вечером из садика, старался проскочить незаметно те места, где меня могли засечь мои приятели, а потом маялся один дома, не решаясь выйти на улицу. Дальше так продолжаться не могло. И я понял, что обречен на выполнение этого своего единственного, хотя и крайне нежелательного, варианта – деться было некуда!

А вариант был абсолютно криминальный – деньги надо было украсть! Украсть?! Я представить себе не мог, во-первых, у кого, во-вторых, как, а, в-третьих, что я вообще на это способен! Пришлось представить, поскольку единственной возможностью, используя сегодняшнюю взрослую терминологию, «не потерять лицо» в глазах приятелей, было совершить этот тяжкий грех. Иных путей выполнить что обещал, я не видел. И путей не выполнить его – тоже!

Но чтобы украсть – надо знать, как минимум, где или у кого. Как я не искал сколько-нибудь реальные пути выполнения этого ужасного варианта, все сводилось к одному – украсть я мог только в собственной семье!

...Родители держали все деньги в верхнем ящике массивного большого комода – получали зарплату и складывали все туда. Ну и конечно брали по мере надобности. Чтобы достать до этого ящика, мне надо было быть минимум вдвое выше. Никто мне специально не запрещал лазить в него – думаю,

главным образом, вследствие уверенности, что он для меня и так недоступен; да и грех воровства за мной не водился. Наверно именно вследствие отсутствия запрета, этот ящик особо и не возбуждал мое любопытство. Но что в нем хранят, я знал – особого секрета из этого тоже не делалось.

Ах, мама, мама! Неужели тебе были неизвестны элементарные опыты по изучению интеллектуальных способностей шимпанзе, в которых обезьяна нашла способ как достать подвешенный на недосягаемой для нее высоте банан? Наверно были известны, но не пришли в голову, когда ты выбирала место для «семейного банка». И напрасно. Или неужели ты решила, что пятилетний человеческий детеныш, да еще твой и папин, соображает хуже пусть даже взрослого шимпанзе? Если так, то это было очень опрометчиво с твоей стороны.

Короче, с немалыми усилиями я придвинул к комоду стул, на него водрузил табуретку, к этому весьма шаткому сооружению придвинул второй стул, с которого предполагал влезть на табуретку. Попробовал – нереально. При своем росточке я гарантированно рухнул бы с этой пирамиды при первой же попытке влезть с приставленного стула на табуретку. Да, шимпанзе было проще – там были выверенные по размерам ящики, а здесь...

И тут мне представилась возможность на практике доказать, что пятилетний человеческий дитёныш все-таки пособразительнее шимпанзе, даже на пике его интеллектуальных способностей. Я положил табуретку на стул поперек.

И тогда мне удалось, правда опасно балансируя на горизонтально лежащих ножках табуретки и удерживаясь руками за комод, залезть на эту конструкцию. Высоты хватило. Я с трудом, рискуя каждую секунду свалиться, приоткрыл заветный ящик. В нем уютно лежали две аккуратные тонкие стопки купюр – темно-зеленые и розовые.

Здесь следует отметить, что за всю предшествующую жизнь я ни разу деньги в купюрах не держал в руках (я и слова-то такого, – купюры, или там банкноты, – естественно, не знал). Ну, монеты различного достоинства разными путями в них иногда попадали. А купюры – никогда.

Дыхание от волнения сперло, сердце, по-моему, вообще остановилось, «крыша» слегка поехала... Я закачался... и чуть было не свалился со своего крайне ненадежного сооружения. Огромным усилием воли, которая, как оказалось, есть и у пятилетнего, я удержал равновесие. Несколько секунд пришлось потратить, чтобы хоть чуточку придти в себя. Затем я сунул руку в ящик. Она фактически интуитивно потянулась к стопке темно-зеленых купюр. На верхней, в большом овале был изображен Ленин (моей эрудиции уже хватало, чтобы опознать его), и было написано «десять червонцев». Это я с трудом, по слогам прочел уже когда слез. Убей бог, чтобы я знал, что такое червонец. Тем более десять сразу.

Мысль взять больше одной купюры, или добавить из соседней стопки даже не возникла. Было не до этого. Я засу-

нул купюру в карман рубашки, чтобы освободить руки, и с немалым трудом, стараясь не потерять равновесие, задвинул тяжелый ящик! Осторожно, чтобы не упасть, слез вниз. Достаточно я взял или мало? – такая мысль мне даже в голову не пришла. Главное было – побыстрее завершить всю эту весьма волнительную и опасную операцию.

... Оказалось взял вполне прилично. Целых сто рублей. Хотя особо бурной радости по поводу принесенной мной суммы демонстративно никто не выразил, – чтоб не зазнавался, – благосклонное поведение Петрухи говорило само за себя.

И опять никто не поинтересовался где и как я достал эти деньги. Мальчишки, вероятно еще неосознанно, старались на всякий случай отмежеваться от моего, явно противоправного, как они прекрасно понимали, поступка. – А что? А мы тут причем? Мы его не заставляли! Это он сам!

Тем не менее, я был удостоен похвалы: – Молоток, Милька! А еще притащить можешь? – спросил Сергуня. Но еще раз пережить то, что пришлось – это уже было, как говорится, за гранью. И я так категорически отказался, что все поняли – настаивать бесполезно.

Деньги были уже в руках Петрухи. Кого-то он послал за конфетами к известному им магазину, и минут через десять посланец вернулся с объемистым кульком конфет. Тут же приступили к дележу. Вообще-то они могли меня, пользуясь сегодняшним сленгом, запросто кинуть. К тому же, по-

сле всего пережитого, мне и конфеты-то эти были уже не в радость. Но ребята поступили благородно – каждому, в том числе и мне, досталось по четыре штуки. Вот сам этот факт, свидетельствующий о моем равноправии в компании, был мне весьма приятен. Хотя я, конечно, не подал виду, – как будто иначе и быть не могло.

Однако для меня эта история еще не закончилась. Сколько потребуется времени, чтобы мама обнаружила кражу? Я не знал. А что мне за это будет? – об этом вообще было лучше не думать. При маминой несдержанности и непредсказуемости угадать форму и меру физического воздействия было невозможно. Что оно будет физическим, – не было ни малейших сомнений! Поэтому я находился в постоянном напряжении – нервишки совсем расходились, если такое применимо к пятилетнему ребенку. Я стал плохо есть и спать, чем вызвал серьезное беспокойство всех близких. Если бы не обострение папиной язвы, которое забирало на себя почти все внимание мамы, меня бы уж точно потащили к врачу.

Боже мой! Какие клятвы я только не давал, если пронесет. Так как гипотеза о существовании Всевышнего и Всемогущего была мне тогда знакома крайне поверхностно, то большинство клятв мысленно были обращены или к самому себе, или, еще чаще, – к маме. – Мама, мамочка! Ну, пожалуйста, не заметь пропажу этой несчастной сотни! Клянусь, я больше никогда в жизни ни буду! Никогда, ничего ни у кого не украду! – только пусть пронесет этот первый и последний

раз! Прости, что я был такой дурак и решился на это.

Проходил день за днем, а возмездие вроде как бы и не наступало. То ли мои клятвы были услышаны, то ли просто дуракам везет, то ли мама просто не знала сколько точно денег у нее лежало в этом злосчастном ящике комода...

Наконец, где-то через неделю-полторы, – ко времени получения родителями следующей зарплаты, когда ящик пополнился новым вкладом, – я понял, что кажется пронесло. Мое нервное напряжение постепенно спало, и моя жизнь, спотыкаясь о детские каждодневные проблемы, продолжила не спеша свое движение в неизвестное будущее.

Рецидивист

Больше года прошло после смерти папы. Глубже всех это наше горе, естественно, переживала мама. Я по малолетству еще не мог почувствовать, тем более осознать его во всей полноте. Лично моя жизнь изменилась мало. Разве что раньше мамино внимание в основном доставалось тяжело больному папе, а теперь мне. Однако это далеко не всегда радовало меня, так как от всего пережитого, от нервных и физических перегрузок мама стала издерганной, несдержанной: то кричала и неслабо шлепала меня за всякие детские провинности, а то вдруг набрасывалась со слезами, поцелуями и безудержными ласками. Еще больше доставалось бусе и Люле, на которых мама срывала свое перенапряжение еще чаще.

Значение слова «сирота» я знал, но применительно к себе не ощущал и не слышал его от окружающих. Мы жили среди интеллигентных семей сотрудников танкового проектного института, где работали родители и Люля, а в этой среде не считалось правильным «по народному» причитать над осиротевшим ребенком, и вообще как-то нарочито выказывать ему свое сочувствие по этому поводу.

Чтобы немного отвлечь маму от пережитого, бабушка, Люля, мамины подруги и даже папины друзья-сослуживцы уговаривали ее отметить свой очередной (тридцать первый) день рождения, приходящийся на март.

На фронте к тому времени (1944-ый год) произошел явный перелом, и вторая половина лозунга военных лет – «Наше дело правое, победа будет за нами!» – перешла из области желаний в область уверенности. Когда именно? Не совсем ясно, но явно относительно скоро.

Настроение было приподнятое, все старались использовать каждый повод расслабиться после того страшного напряжения, которое пришлось на первые три года войны.

И мама решилась. Было приглашено довольно много гостей, причем не только давние друзья родителей, но и бывшие папины сослуживцы. В том числе и немалые начальники – папа был в институте не из последних.

Все мои женщины готовились загодя. Все, что только можно было сделать заранее и сохранить без ущерба для качества, делалось заранее. К изделиям подобного рода относился и хворост, который бесподобно пекла моя бабушка. Он был приготовлен за три дня до застолья, и намечен на роль «гвоздя» всей кулинарной программы. Вообще-то не ахти какой роскошной из-за ограниченных возможностей тех лет.

Учитывая наличие ребенка, который хоть и пользовался доверием, но не безграничным, решили, не информируя меня, на всякий случай спрятать хворост подальше – на верхнюю полку большого дореволюционного буфета. Она была под самым потолком, что давало полнейшую гарантию сохранности столь ценного продукта от моих, гипотетически возможных поползновений.

Но что можно утаить от шустрого семилетнего мальчишки, да еще при столь тесном общежитии? Естественно, я узнал где он будет храниться еще до того, как он был приготовлен. Особенно, если учесть кто его готовил.

Я плохо спал ночь, следовавшую за днем приготовления хвороста. Если вы не поняли почему – я объясню: бабушка дала мне попробовать хрустящие «отходы» ее производства, которые отличались от готового изделия только непрезентабельной формой, но отнюдь не вкусом.

Не поверите, но может быть я единственный в мире человек, которому в эту ночь снился вкус продукта. Не сам хворост, не слегка винтообразная форма каждой отдельной, почти прозрачной «хворостинки», и не большое блюдо, наполненное ими, а именно божественный, неповторимый вкус! И легкий хруст, который сопровождал его появление во рту.

Следующий день был обычным будним днем. Для всех кроме меня. То есть для меня он тоже был будним: я, как всегда, пошел в садик, где нам Мария Владимировна читала какие-то сказки, потом выводила нас для прогулки на площадку, где мы брали штурмом макет парохода. Этот макет можно было принять за пароход только при очень развитом детском воображении, которое, правда, у нас имелось в избытке.

За многие-многие десятилетия, прошедшие с тех пор, я до сих пор вижу на территории детских садов и на детских

площадках точно такие же аляповатые парходы. Только в мое время они делались из досок, а сейчас преимущественно из пластика. Уже появилась атомная бомба, мирный атом, интернет и Большой андронный калайдер, уже человек побывал на Луне, и на комету, мчащуюся во вселенной с неопи-суемой скоростью за 400 млн. километров от Земли, при-сел рукотворный модуль,... а сухопутные парходы на дет-ских площадках остались. Причем почти такими же. Ну что может быть для пожилого человека, ностальгирующе-го по своему детству, более трогательно?

...Наконец мой «рабочий день» в детском саду закончил-ся, и нас, подготовительную группу, распустили по домам. В ожидании с работы мамы, Люли или бабушки я мог гулять во дворе – до их прихода оставалось еще не менее полуто-ра-двух часов.

Мог-то мог, да вот только какая-то неодолимая магнети-ческая сила держала меня около буфета, не давая удалиться от него далее пределов нашей комнаты.

До этого дня я никогда не задумывался о том, сколь вы-сок наш буфет. Оценил это я лишь сейчас. Стоя у его подно-жия, я мог видеть его верхнюю полку, закрывающуюся двух-створчатой дверцей, только до предела задрал голову. Навер-но так в ночь перед штурмом стоял, обзорева вышоченные стены неприступного Измаила, наш легендарный полково-дец А. В. Суворов (конечно, это уже сегодняшняя ассоциа-

ция).

Однако мысли о «штурме непреодолимой твердыни» буфета, я не то что бы гнал от себя, а они даже не возникали. Я, если и не понимал до конца, то неосознанно чувствовал, что значит не только для мамы, но и всех нас этот ее день рождения. Ну и о роли хвороста на праздничном столе тоже, конечно, был наслышан.

Попробовал отвлечься чем-нибудь, но за что бы ни брался, все валялось из рук – все мысли крутились вокруг хвороста. Точнее даже всего лишь одной-единственной хворостиночки. Но совершенно недоступной!

В конце-концов в моей душе зародилось и все ширилось и ширилось чувство протеста: как можно заставлять ребенка так мучиться, когда речь идет о сущей ерунде, о крошечном желании, от удовлетворения которого никому, ни в малейшей степени не будет плохо, а ребенку станет сказочно хорошо?!

Но я с детства был реалистом. При всей обоснованности, на мой взгляд, своего возмущения, я прекрасно понимал, что дело торжества справедливости придется брать в свои руки – вряд ли кто из взрослых окажется морально зрелым настолько, чтобы принять мою точку зрения на проблему. Даже бабушка.

Однако одной моей решимости было, увы, недостаточно. Передо мной высилась непреодолимой преградой громада добротного купеческого буфета, где в заоблачной выси, за

дверцами хранилось сокровище, которое я вознамерился добыть. Ну, прямо как в сказке о Кашее Бессмертном, Василисе Прекрасной и Иване-царевиче.

Мысль судорожно металась в черепной коробке, больно ударяясь о ее стенки! Как? Каким способом достичь совершенно недостижимой цели? При моем-то ущербном росточке и более чем скудных физических возможностях?!?! Однако человек, как известно, организм мыслящий и, главное, неожиданный. Где-то в сумятице моей – то ли памяти, то ли чего еще, – возникло ощущение некоего «дежавю».

К тому времени я начисто забыл о своем «криминальном прошлом» двухгодичной давности. Но такое видимо не проходит бесследно. Ситуация мне что-то напоминала: та же необходимость достать нечто трудно достижимое, и какое-то решение той проблемы – непростое, но все-таки решение!

Возникшие ассоциации принимали все более отчетливую и навязчивую форму. Наконец, ... щелчок, – и я вспомнил... кражу мною родительских денег из ящика комода!

Но что общего между тем, что произошло тогда, и что я собираюсь сделать сейчас? Там – похищение ДЕНЕГ, а тут – всего лишь... Где мне было в ту пору знать, что если человек хочет найти оправдание любому своему самому неблагоприятному деянию, он всегда его найдет.

Нравственная самооценка того моего гадкого проступка, клятвы себе, что подобное никогда не повторится, – все это почему-то забылось, или, по крайней мере, отошло на второй

план. А на первый вышла «техника» его реализации: стул, на нем поперек положенная табуретка и я, стоящий на этой табуретке в положении крайне неустойчивого, но все-таки равновесия.

Как известно, – по крайней мере криминалистам и читателям детективов, – у каждого преступника есть свой «почерк», свои излюбленные приемы и инструменты. В моем случае таковыми очевидно следует считать использование домашней мебели. Однако прежние наработки уже не годились – «объект преступления» находился гораздо выше, чем тогда. Надо было придумывать новые приемы.

Мебель была громоздкая и тяжеленная. Я – маленький и хиленький. Но что делать – другой мебели не было, надо было «работать» с этой. Я уперся руками в стол, ногами в диван, диван уперся – в стенку! (Стенка осталась на месте).

Как известно, в экстремальных условиях силы человека удваиваются, а кое-кто считает, что и утраиваются. В моем случае, думаю, они учетверились! ...Я напрягся, мое страстное желание передалось столу, и, поупиравшись пару секунд, ...он сдвинулся с места!

Вот как лучше всего изучать законы физики – на собственном опыте: когда в шестом классе нам объясняли, что инерция покоя больше инерции движения, для меня это уже не было новостью.

...Стол уперся в буфет и замер. Но на него еще надо было водрузить тяжеленный купеческий стул. Перефразируя одно

слово в припеве песенки в популярном послевоенном фильме про боксеров «Первая перчатка», получается – «...нужна ребенку не только сила, нужна ребенку голова»! Какая-никакая, но голова у ребенка, видимо, имелась – я подвинул к столу стул, забрался на стол и... опять же посредством запредельных усилий, втащил наверх стул. Рискуя свалиться с немалой высоты (стол плюс стул), забрался на него. Выражаясь фигурально – «Измаил был взят!».

Я с трудом открыл дверцы верхней полки, протянул свою трепещущую преступную руку, и... нащупал хвост.

Думаю, что было дальше понятно и так. Без детального описания. Естественно, после столь нечеловеческих усилий, которыми была достигнута цель, ну никак, ни при каком напряжении воли невозможно было ограничиться одной хвостинкой, как предполагалось первоначально. Моя «шаловливая ручонка» сновала по маршруту «блюдо-рот» и обратно, и никак не могла остановиться – я находился в каком-то трансе.

Наконец я опомнился в ужасе от того, что делаю. Но придаваться угрызениям совести на высоте почти полутора метров было опасно, неудобно и, главное, несвоевременно – до прихода моих оставалось совсем немного.

Обойдусь без подробностей, как и с каким трудом, используя уже иные приемы, которые пришлось придумывать на ходу, мне удалось слезть и воссоздать исходную обстановку. Когда пришла мама я, как ни в чем не бывало, встретил

ее, гуляя во дворе.

Ах, если бы этим все и ограничилось! Ну была бы, естественно, драма. Но она не переросла бы в то, что оказалось за рамками всех известных театральных жанров.

На следующий день (последний перед днем рождения) я опять пришел из садика раньше всех на пару часов. И опять, как ни пытался себя отвлечь, все мысли, как в спиритическом сеансе, вращались только вокруг блюда.

Подтверждаю: главное только ступить на криминальную дорожку, а потом уж бесы подхватят тебя, как говорится, «под белые ручки» и повлекут с нарастающей скоростью по стезе греха. Ну, и повлекли – благо путь был уже проторен. А сдерживающие центры и моральные тормоза, как оказалось, к семи годам еще не были сформированы. По крайней мере у меня.

...Стоя на огромной для меня высоте, я, не глядя, загребал хворостинки. Наконец сверхчеловеческим усилием все же удалось остановиться. Что-то на дне еще оставалось. Сколько именно – определить было невозможно. Я слез, опять же не без труда поставил все на место, и спустился во двор.

Гости были приглашены на семь вечера. В комнате была произведена тщательная уборка, вокруг стола размещено требуемое число посадочных мест, и часа в четыре начали накрывать стол – мама еще хотела оставить время, чтобы

спокойно переодеться и причупуриться.

Отвалить бы куда подальше когда начали накрывать на стол! Я же, влекомый по-видимому той же неодолимой силой, которая толкнула меня на преступление, не мог извлечь себя из комнаты. Разве что забился в какой-то дальний уголок, чтобы не мешать взрослым, не провоцировать маму изгнать меня.

Как будто не понимал, что вот-вот, с минуты на минуту, разразится грандиозный скандал. Что будут искать виновного, и что долго его искать не придется, поскольку кто, кроме меня, им мог бы быть??!. И мама будет драть меня, как «сидорову козу», бабушка – призывать маму хотя бы изменить метод воспитательного воздействия, а Люля, ошеломленная происходящим, стоять в растерянности, не зная что в этой ситуации должна делать она.

А я сижу в углу, и как загипнотизированный не могу тронуться с места... Чтобы, по крайней мере, в первые часы или хотя бы минуты после раскрытия моего преступления не попасть под горячую мамину руку. Как будто то, что сейчас произойдет меня абсолютно не касается. И я посторонний зритель, ожидающий кульминационный момент захватывающей драмы, содержание которой мне известно!

Когда лет семь спустя, из первых детективов мне стало известно, что преступника якобы всегда «неодолимо влечет на место преступления», я мог ответственно свидетельствовать в пользу этого спорного утверждения. На основе собствен-

ного «криминального прошлого».

Наверх, как самая молодая и инициативная, полезла мама. Встав на стул, она открыла верхние дверцы буфета, вытянула вверх руки, осторожно взяла блюдо и, не глядя в него, аккуратно передала Люле. Люля, как существо, весьма далекое от всяких прозаических проблем, не врубаясь в то, что предстало ее взору, спокойно поставила его на стол. Размещать блюдо с хворостом на столе, это, естественно, была прерогатива мамы.

Когда мама спустилась и взглянула на блюдо, в ее глазах появилась какая-то детская растерянность. Как у девочки, у которой прямо на глазах из рук вдруг исчезла кукла, причем не просто без команды фокусника, а даже при его отсутствии. Потом...

...Ну, что было потом трудно описать не только богатейшим русским языком, но вообще любым из известных человечеству способов передачи информации. Но я попробую...

Дальнейший сценарий развития событий был вроде бы представлен выше. Однако, не торопитесь. Реальная жизнь, как известно, может оказаться кудрявее любых предсказуемых жизненных ситуаций.

Естественно, тут же встал вопрос – КТО??!! Надо отдать маме должное: даже в такой, совершенно фантазмагорической ситуации, мысли о потусторонней силе, полтергейсте

или чем-либо подобном ей в голову не пришли. Она попыталась найти разгадку в более знакомой, материалистической системе координат.

Как во всемирно известном детективе Агаты Кристи, преступника предстояло выбрать из вполне конкретного числа подозреваемых. В данном случае из четырех: из нее самой, бабушки, Люли и меня. Себя и бабушку она исключила сразу: себя – по здоровой памяти, бабушку – по здравому рассуждению. Во-первых, бабушка сама пекла этот хворост, во-вторых, несмотря на прекрасную сохранность, ей было уже под шестьдесят, и лезть на стол, чтобы... – в общем, сами понимаете; и в-третьих, она была не то что известна, а даже повсеместно славилась своей совершенно безупречной честностью и принципиальностью. Ну, и потом это ее мама, в конце концов. Если предположить, что на такое способна твоя родная мать, то надо не день рождения отмечать, а прямо тут же лечь и умереть!

Оставались я и Люля. Мама, надо сказать, обычно довольно реалистично оценивала мои возможности. Она не относилась к числу матерей, которым кажется, что их ребенок самый красивый, самый талантливый, самый умный и даже самый честный. Что касается последнего, она, как правило, действительно чувствовала грань, какую я преступить могу, а какую нет. И не то чтобы в данном случае блюдо с хворостом стояло за гранью. Думаю, тут мама не была бы столь категоричной. Но она прекрасно могла оценить мои физиче-

ские возможности. Они просто исключали мой материальный контакт с блюдом там, где оно стояло – будь то за моральной гранью или до нее. И мама категорически вычеркнула мою кандидатуру из числа подозреваемых!

Что же оставалось, как говорится, «в сухом оюстатке»? «В сухом остатке» оставалась Люля!!!

И вот тут, вы меня извините, но без отступления не обойтись. Без объяснения того, что же это за «явление» такое – наша Люля!

Люля всегда жила вместе с бабушкой. Точнее при бабушке. Когда выяснилось, что Люлечка такая тихоня, и постоять за себя, в отличие от мамы, не может, – а выяснилось это, по-моему, еще в детстве, – вот тогда бабушка и взяла ее пожизненно под свою опеку. Они вдвоем представляли как бы подраздел нашей семьи. При этом Люля безотказно помогала любому из нас, в любых обстоятельствах и в любых количествах, когда бы ее помощь ни понадобилась.

Если мама в определенных случаях могла превратиться в «бурю и натиск», «шум и ярость», то Люля – всегда была только «тишина и покой», «шитель и безмолвие». И святость. В прямом и переносном смысле этого слова. В каком хотите. Не было человека ни на том, ни на этом свете, которого Люлечка хоть как-нибудь, когда-нибудь или чем-нибудь обидела или обманула! Такого не было, потому что не могло быть никогда! За все время ее пребывания на белом

свете такой человек так и не родился!

Правда, в суете, так сказать, быстротекущих дней, мы не задумывались над ее абсолютной беспорочностью, над тем, что вообще представляет собой Люля. Мы принимали ее как нечто абсолютно привычное, и потому незаметное, – как смену времени суток, как обои, которые уже много лет покрывают стены твоей комнаты.

...Мама никогда Люлю не называла Люлей, как я с бабушкой. Только Любой. Почти всегда была с ней строга, слегка погоняла и пыталась ею командовать. Хотя была младшей сестрой.

По-моему, не отдавая себе отчет, мама всю жизнь ревновала меня и бабушку (а позже и мою семью) к Люле. Также неосознанно она отказывала Люле в святости, пытаясь подходить к ней с общими мерками. Но у нее это плохо получалось. Ее сухой, требовательный или недовольный тон, обращенный к Люле, последней просто не замечался. Не специально, а так... Как, допустим, умный и деликатный взрослый не считает нужным обращать внимание на мелкую грубость ребенка. Люля привыкла к такому маминному, слегка вызывающему тону по отношению к себе. А что она может претендовать на столь высокий моральный ранг как святость, ей и в голову не приходило.

Ну и конечно постоять за себя Люля тоже не могла. Правда, ей и не требовалось. Это кто же такого человека обидит? Кроме моей мамы, конечно. Та могла, хотя по-сво-

ему и любила Люлю где-то в глубине себя. Вполне могла. Но для таких случаев существовала бабушка, и тогда от мамы «кочки летели по закоулочкам». Хотя бабушка во всех прочих случаях была очень выдержанный человек.

Таким свойствам характера, как у Люли, должно соответствовать немногословие. Она такой и была. Фразу больше, чем из пяти-шести слов от нее редко услышишь. Не слышал я никогда от нее и хулы в чей-нибудь адрес. Я же говорю – чистейший ангел.

Замужем наш ангел, как и положено такому неземному существу, тоже никогда не был. Правда мама рассказывала, что перед войной за ней ухаживал какой-то сотрудник, – Люлечка в общем-то была вполне миловидной, особенно в молодости: приятное, с мягким овалом, хотя и довольно обычное лицо, чуть курносый носик, добрые серые глаза – и все это в обрамлении тонких каштановых волос, незамысловато собранных вокруг головы во что-то неопределимое. Фигурка невысокая, тоненькая, и всегда облаченная в платье абсолютно невыразительного кроя и незапоминающейся расцветки.

Сотрудник этот вроде бы даже предложение делал. Но он то ли хром был, то ли еще какой физический дефект имел, и бабушка сказала «нет»! Мама потом всю жизнь попрекала этим бусю. Что, мол, она это сделала из собственного эгоизма, чтобы Люли не лишаться. Да, они действительно прямо проросли друг в друга. Как сямские близне-

цы какие-то. С одной кровеносной системой. Если бы такое было между Люлей и мамой, это было бы более понятно – все-таки родные сестры. И разница в годах небольшая, и воспитание одинаковое и в одних условиях... А они вот такие разные получились.

Хотя бабушка никому (то есть маме) в обиду Люлю не давала, сама, бывало, покрикивала на нее. Иногда даже делала ей неслабые словесные «выволочки». Вот только в таких случаях я иногда и мог ненароком услышать как Люля, держа оборону, на короткое время становилась чуть более многословной. Однако причин бабушкиного недовольства Люлей я не знаю. А теперь жалею, что не прислушивался – все-таки интересно, чем оно могло быть вызвано.

Но это у них были как бы свои, внутренние разборки. Никому другому там места не было. Когда бабушка, по мнению мамы, слишком уж активно напирала, мама заступалась за Люлю. Но Люля никогда не принимала ее заступничества – все свои противоречия они решали между собой, без «посторонних», так сказать.

Мама частенько любила выступить на тему, что бабушка, мол, поработила Люлю, превратила ее в свою личную собственность. Может тут и была доля правды, но лишь доля. И к тому же весьма небольшая. Потому что Люля очень любила бабушку. Так своих поработителей не любят. Она всю жизнь нежно называла ее «мучик». Мучик и мучик. Как-то, уже в свои зрелые годы, я спросил у мамы: –

Что за «мужик»? От слова «мучить» что-ли? – Оказалось не «мужик», а «мунчик»: мама-мамочка-муня-мунчик! Прислушался, – действительно «мунчик»! Теперь понятно стало.

...И вот такого, не способного и мухи обидеть, честнейшего человека мама, словно с бодуна какого, вдруг заподозрила в проходной бытовой гадости, в которой и человека обычной честности обвинить невозможно. Ну, ясно – у нее из-за стресса на почве переживаний предыдущего года явно «крыша съехала». А хворост этот просто оказался вроде как последним толчком что ли?!

... Люля побледнела, отшатнулась от мамы и трепещущими губами, чуть дыша, смогла только вымолвить: – Да что ты, Вера! Что ты такое говоришь?! – И больше она не сказала ни слова вплоть до завершения всего инцидента.

Но у Люли была бабушка. Хотя как бабушка повышает голос, я слышал всего несколько раз в жизни. Когда она на кого-то серьезно обижалась, она просто поджимала губы и переставала этого человека замечать. Тем не менее, таким травоядным, как Люля она все же не была. В редчайших случаях, но бабушка могла быть очень убедительной. И это был такой случай. Она как тигрица набросилась на маму. Словесно, конечно, но вообще-то чуть ли не на грани физического воздействия. И полетели «кочки по закоулочкам»...

А я? А что делал я? А я, как последняя трусливая сволочь,

вместо того, чтобы защитить Люлю и признаться тут же во всем, сидел, забившись в свой уголок, и испуганно созерцал оттуда «битву титанов»! Единственно, может быть, что могло бы служить мне оправданием, так это то, что вся сцена развивалась так стремительно и эмоционально, что вставить даже слово не было ни малейшей возможности. Разве что выскочить, встать между бабушкой и мамой и громовым голосом, вымолвить: – Тихо! Замолчите и успокойтесь, если сможете! Это – я! – Но, как вы понимаете, это из области фантазий.

...В «битве» с бабушкой мама, естественно, потерпела полное фиаско. Не сразу конечно. Она пыталась обороняться – наступая, маневрируя и используя свой недюжинный темперамент и элементарные логические умозаключения. Но постепенно все же сдавала позиции, осознавая полную абсурдность своего обвинения.

...И тогда пришлось вернуться к моей кандидатуре. Естественно, после всего происшедшего на моих глазах я не мог, да и не хотел, долго отпираться.

Нельзя сказать, что без лишних слов, – скорее с большим их количеством, я был мамой выпорот по первое число. Вот когда она смогла беспрепятственно излить свое нервное напряжение, свое возмущение за испорченный праздник, и вообще за все горести и беды последнего времени.

Колотила она меня со всей страстью, но без применения «технических средств» – ремень для моей порки в семье

отсутствовал. Два момента ограничивали силу воздействия: во-первых, мама, даже в таком состоянии понимала, что колотить меня можно лишь по «избранным» местам, а, во-вторых, средством исполнения наказания была ее собственная рука, и потому сила ударов частично лимитировалась болевым порогом. Правда, не моим, а ее руки – мой «болевого порог» во внимание не принимался.

Наказание ребенка тогда достигает максимального эффекта, когда на силу физического воздействия накладывается испытываемое им чувство справедливости наказания. Достигается как бы этакий синергический, то есть превышающий обычную сумму, эффект. Это был как раз такой случай.

...Избитый по первое число, в слезах и соплях, я оказался на своем спальном диванчике, где и пребывал, периодически всхлипывая и шмыгая носом, во все время маминого дня рождения. Когда некоторые из гостей в начале застолья интересовались, почему сын «новорожденной» не за столом, а я при этом начинал особенно интенсивно и страдальчески всхлипывать, мама отвечала, что я наказан за крупную пакость. Гости, люди интеллигентные и деликатные, в подробности не вдавались, и вскоре на меня уже никто не обращал внимания.

День рождения, несмотря на все описанные драматические обстоятельства, слава Богу, удался. Как ни странно, после всех пережитых треволнений, выпоротый от души, но,

как говорится, «по делу», в ту ночь я спал особенно крепко. Наверно это был первый раз в жизни, когда я почувствовал, как благотворно действует заслуженное наказание, способствуя тому, что называется «с души свалился камень»!

И это был уже действительно последний раз, когда я что-нибудь украл! Надеюсь, что последний раз в жизни.

Наркотик славы

Еще пара сюжетов, правда совершенно иного свойства, связанных с уже упоминавшимся моим пребыванием в Боткинских бараках.

Ослабленным детям, к числу которых относился и я, был прописан рыбий жир – по столовой ложке в обед. Вряд ли вы пили когда-нибудь рыбий жир, если вы человек не очень преклонного возраста, – его уже давно заменили шарики витамина «А» и прочих витаминов. Но лет десять-пятнадцать после войны рыбий жир являлся одним из основных средств витаминизации, особенно детей. Как говорится, дешево и сердито. Но те, кому довелось его принимать под крики или уговоры родителей или под начальственным прессингом медсестер, если дело происходило в больнице, вряд ли до конца дней забудут его специфический тошнотворный вкус.

Однако, среди обычных *homo sapiens* встречались и аномальные особи, которым рыбий жир нравился. К моему собственному удивлению выяснилось, что к их числу отношусь и я: с черным хлебом, посыпанным солью, я мог с удовольствием употребить три-четыре столовых ложки рыбьего жира. Какая удача для моих ближайших соседей и медсестер, которым попадало от врачей, если выяснялось, что они не смогли влить его в тех, кому он был назначен. Я стал популярной личностью не только среди ближайшего окруже-

ния, но даже в бараке в целом – сестры, сдавая дежурство, вместе с назначениями врачей передавали своим сменщикам и меня, как палочку-выручалочку, помогающую решить сложнейшую проблему, стоявшую перед ними. Ну пусть не полностью, но хотя бы частично. Подобная популярность несколько скрашивала моральный ущерб, который наносился мне принуждением к унижающим мое «мужское» и человеческое достоинство упомянутым выше выступлениям в качестве учебного пособия.

Ежедневное поглощение мною нескольких порций рыбьего жира превратилось в некое подобие циркового выступления. Если и без аплодисментов после принятия каждой ложки, то под искреннее, нескрываемое восхищение публики. К каждому обеду мне подавалась медсестрой бутылочка типа той, из которых кормят грудничков, содержащая энное количество порций рыбьего жира, два-три куска (вместо положенного одного) черного хлеба и солонка. Я не торопясь посыпал ломоть хлеба солью, твердой рукой наливал в ложку рыбий жир и медленно нес ее ко рту. Собравшаяся вокруг моей кровати публика, затаив дыхание, замирала – для лучшего сходства с рискованным цирковым трюком не хватало только барабанной дроби!.. Еще мгновение, и я в замедленном темпе, изображая на лице непостижимое удовольствие, выпивал содержимое ложки. Со стороны публики слышался выдох, подобный тому, который раздается в цирке после извлечения дрессировщиком своей головы из пасти льва, или

по завершении воздушным акробатом смертельно опасного трюка... Работая на публику, я, смакуя, облизывал ложку, затем заедал выпитое хлебом с солью. И не торопясь, не утрачивая артистизма, приступал к наполнению следующей ложки.

Под влиянием наркотического действия славы я даже довел число поглощаемых ложек с первоначальных трех до пяти... Я, по-моему, испытывал те же чувства, что и популярный спортсмен, старающийся под магнетическим воздействием своих фанатов превзойти свое прежнее достижение. Или ударник коммунистического труда, стремящийся с подначки парткома побить собственный производственный рекорд.

Слава богу, меня выписали раньше, чем я успел возненавидеть рыбий жир, и до того, как я испортил себе печень передозировкой витамина «А», которым он столь богат.

Я не пил рыбий жир уже не менее полувека, а может и дольше... Интересно, понравился бы он мне сейчас? Но просто из любопытства воспроизводить детский эксперимент уже пожилому человеку как-то неудобно.

Немцы вживую

Немцев, в смысле фашистов, конечно, я видел множество: в документальных и художественных фильмах, на плакатах, в тогда еще немногочисленных детских книжках про войну и т. п. Даже сам рисовал их в самодельных альбомах, сделанных в переплетной мастерской маминого 8-ого ГПИ – в войну и непосредственно после нее альбомы для рисования купить было практически невозможно. А вот вживую немцев видеть не приходилось. Интересно, какие они, живые? Но где их возьмешь живых-то? И вот довелось.

По обеим длинным сторонам барака были окна, множество огромных окон высотой метра в три-три с половиной – до самого потолка. Была уже осень – то ли еще сентябрь, то ли уже начало октября, – пора уже было их заклеивать, чтобы больные не простудились. И вот в один из дней у нас в бараке появились... немцы! Совершенно натуральные. Естественно, пленные. Им было поручено заклеить окна. На заклейку трех окон – одно напротив моей кровати, одно до нее, и одно после, – у них ушло что-то около двух дней. За эти два дня я и мои соседи имели возможность наблюдать их в непосредственной близости, и даже немного общаться.

Первое удивление – это то, что они были похожи на обычных мирных, я бы даже сказал тихих, немногословных людей. И уж во всяком случае никак не походили на тех бан-

дитов, которые в кинохронике умело и лихо поджигали крестьянские избы, вешали партизан или заложников, после чего, довольные проделанной «работой», позировали на фоне повешенных, улыбаясь в кинокамеру. Однако форма на них была та же самая, что и в кино. И худощавые лица без особых примет – тех же парней в пилотках. Чаще всего белобрых. Только форма была без знаков различия на погонах, уже весьма потертая и местами аккуратно заштопанная...

Второе удивление я испытал в отношении самого себя – сколько я ни старался, никак не мог отыскать в себе ненависть к ним, которую безусловно обязан был испытывать, исходя из всего того, что я знал о немцах, о фашистах. Это меня ужасно мучило, но я ничего не мог с собой поделать – ненависть не появлялась. Было только чувство любопытства, как если бы, допустим, я имел возможность наблюдать со стороны кусочек жизни ранее невиданных мною хищных обитателей джунглей в обстановке, где им незачем было проявлять свои хищнические наклонности. Немцы (они работали по двое) делали свое дело молча и споро, изредка перекидываясь между собой несколькими словами на своем немецком языке. Иногда появлялся немец, который был у них старшим, что-то говорил им начальственным тоном, они выслушивали, не возражая, и он уходил.

Иностранный язык в школе мы в те годы начинали изучать как раз с третьего класса. Для подавляющего большинства, в том числе и для меня, это как раз был немецкий. Но так как

практически с самого начала учебного года я сразу загремел в больницу, то ни одного слова, кроме общеизвестных «хэндэ хох», «цурюк» и «Гитлер капут», которые вряд ли были уместны в данном случае, я не знал. Но немцы, бывшие в плену уже не первый год, знали несколько десятков слов по-русски. Поэтому лежащие около окон ребята понемногу начали общаться с ними.

В силу скудности языковой подготовки с обеих сторон, общение сводилось к любопытству с русской стороны, а с немецкой – к попыткам получить взамен наших благожелательных ремарок что-нибудь съедобное. Так как мы сами представляли собой недокормленные растущие организмы, общение поначалу шло довольно вяло. Однако немцы вероятно понимали специфику обстановки, в которой они находились. Для лучшего налаживания интернациональных связей с народом-победителем у них имелись всяческие поделки. Одну из них, на которую я запал, помню до сих пор. Это был небольшой самодельный ножичек с наборной пластмассовой ручкой. Ножичек понравился не мне одному – конкуренция была довольно приличная. Однако у меня было серьезное преимущество – небольшой запас из нескольких ломтей хлеба, сохранившихся от выпитых мною лишних порций рыбьего жира, к которым они прилагались. И ножичек достался мне. Применив все свои знания конспирации, я таки сумел вынести его из больницы, откуда ничего нельзя было уносить с собой при выписке, учитывая специфику

инфекционного барака.

Увы, столь ценная вещь не смогла долго удержаться в моих руках – хвастаясь после выписки ножичком в школе и во дворе, я вскоре утратил его.

Возвращение

*Ленинград еще помнил бомб и снарядов град,
Но уже оживал усилиями людей.
Особенно же Город был рад,
Услышав первый смех детей!*

Незабываемый лик войны

В январе 1944-ого сняли блокаду, а уже в начале лета наш 8-ой ГПИ возвращался в Ленинград. Теперь ехали не в теплушках, а в обычных пассажирских вагонах.

Какая-то узловая станция. Наш состав остановился рядом с таким же составом, в котором в Ленинград возвращались эвакуированные из какого-то другого уральского или сибирского города. В обоих составах открылись окна, начались возбужденные переговоры из окна в окно, расспросы о знакомых – ведь встретились ленинградцы, три года оторванные от дома, потерявшие в суматохе спешной эвакуации 1941 года не только знакомых, но иногда и родственников. И вдруг радостный крик – «Вера!!!»... Оказалось, что в этом составе возвращается в Ленинград одна из ближайших маминых подруг – тетя Агнесса со своим десятилетним Гошей.

(«Тетя» – это, как известно, просто «фигура речи». Эта мало интеллигентная манера настолько въелась в меня, что будучи уже сорока-пятидесятилетним мужчиной, я продолжал маминых подруг, которых знал с детства, называть тетя Агнесса, тетя Броня, тетя Белла... И моя мама для детей этих «тётъ» тоже пожизненно была «тетя Вера»).

Они начали через окно (выйти было нельзя – каждый из двух составов мог тронуться в любую секунду) торопливо обмениваться самыми важными событиями, которые про-

изошли с ними за минувшие три года. Мама показывала меня (как я вырос, какой стал...), а тетя Агнесса – Гошу... Но наш поезд тронулся, и мы разъехались. Мама еще долго не могла успокоиться... А кто бы мог?

Была в этой поездке еще одна специфическая деталь: к нашему сугубо мирному поезду была прицеплена отдельная платформа, на которой была установлена зенитка, – ведь еще шла война, и немцев хотя и отогнали от Ленинграда, но, по видимому, не так уж далеко. Работать ей, слава богу, так и не пришлось.

А теперь о главном впечатлении не только этой поездки, но, пожалуй, и всего детства.

Как я, пяти-семилетний ребенок, мог представлять себе войну, в частности, бой? Телевидения еще не было. Для того, чтобы самому ходить в кино, где перед основным фильмом показывали военную кинохронику, я еще был слишком мал, а маме было не до кино. Поэтому в эвакуации основными источниками информации о войне для меня были разговоры взрослых, да редкие картинки и плакаты, карикатурно изображавшие преимущественно Гитлера, которого закалывает штыком советский солдат. Вот и почти все визуальное изображение войны, доступное мне. А тут...

Был ранний летний вечер, то есть еще совсем светло. Поезд очень медленно – малым ходом, – по наскоро восстановленному пути, проезжал где-то вблизи Сиверской – это око-

ло 70 км от Ленинграда. И вдруг как-то незаметно мы стали вползать в самое настоящее поле боя. Жестокий, по-видимому, бой относительно недавно (пять-шесть месяцев как сняли блокаду) шел прямо вдоль железнодорожной насыпи, в узкой полосе шириной каких-нибудь восемьдесят-сто метров между железной дорогой и вдребезги раздолбанным леском. Все было настолько натурально, что захватывало дух. Те, кто стал нечаянным зрителем этой картины, впали в какой-то ступор, замерли и онемели минут на пять-семь, пока мы медленно проезжали этот участок. Это было настоящее поле боя, с которого, по-моему, были лишь убраны тела убитых. Поезд, слегка постукивая на стыках, пересекал довольно глубокую полосу обороны, расположенную по обе стороны железнодорожного полотна (мы видели только одну ее половину). Перепаханная взрывами земля с воронками, обрушенные окопы и выгоревшие то ли блиндажи, то ли огневые точки... Частично втоптанная в землю и разорванные заграждения из колючей проволоки... Вот перед окопом, уткнувшийся дулом в землю станковый пулемет. Глаз выхватывает кое-где валяющиеся винтовки, каски – как наши так и немецкие. Вот опрокинутая, искореженная противотанковая пушка. А вот на расстоянии метров пятнадцати друг от друга две, лежащие на боку, сгоревшие полуторки; частично обгоревшие снизу деревянные столбы с оборванными проводами... И большое количество, не поймешь зачем здесь оказавшихся, перепутанных и почему-то разно-

цветных, – желтых, красных, зеленых, синих, черных, – проводов...

Такое забыть невозможно. Такое врезается в память навечно, даже если тебе всего семь лет. Это поле боя я вижу спустя многие десятки лет как сейчас!

В тесноте да не в обиде

В свою комнату на Жуковской 28 мы вернуться не могли – в нее во время блокады были вселены жильцы разбомбленного дома. По специальному и достаточно справедливому постановлению такие люди выселению с занятой ими площади не подлежали. Поэтому нас с мамой поселили в общежитие сотрудников, попавших в аналогичное положение, или дома которых были разбомблены.

Под общежитие был выделен чердак дома, где расположился наш 8-ой ГПИ. Дом не абы какой – известен всем петербуржцам. Памятник архитектуры тридцатых годов XIX века – Невский, 70. В нем к моменту написания этих строк помещался Союз Журналистов. Снаружи сплошной элегантный классицизм, узкие прямоугольные окна с белыми наличниками; внутри кое-где лепные гирлянды цветов, шлемы, щиты. Вестибюль когда-то был облицован белым искусственным мрамором. Но я что-то этого «мрамора» не помню. От центра вестибюля на второй этаж в большой зал ведет широкая парадная лестница. Красиво жил генерал-адъютант Иван Сухозанет – владелец этого небольшого, но весьма стильного особняка, покروшивший картечью 14 декабря 1825 года полки, вставшие на сторону декабристов. Но тогда всего этого мы, конечно, не знали. Да и все это архитектурное и интерьерное великолепие совсем не бросалось в глаза

– оно весьма потускнело без соответствующего ухода за годы советской власти и особенно за годы блокады.

На большом длинном чердаке каждой семье выделялось пространство в три-пять квадратных метра (в зависимости от числа членов семьи). Оно отделялось от столь же крошечного закутка соседней семьи только простынями, игравшими роль раздвижных дверей и перегородок перемещением вдоль веревки – на манер раздвижного занавеса. В такую «комнату» помещалось лишь требуемое число кроватей и одна, редко две тумбочки. Чтобы занимать меньше площади, чемоданы складывались один на другой; из них же делался общий для семьи стол.

Ночью я нередко просыпался, не соображая спросонья от чего. И вдруг понимал, что проснулся потому, что по одеялу деловито гуляла, карабкаясь на «холмы», образованные выступающими частями моего тела, огромная крыса, причем не всегда одна. Сейчас мне, взрослому человеку, такое и представить жутковато, а тогда мной, маленьким ребенком, это воспринималось просто как данность бытия.

На верхнем этаже, непосредственно под чердаком, жильцам этого необычного общежития была выделена общая кухня. За углом от нее уже начинался коридор, куда выходили помещения, где работали сотрудники. В этом общежитии мы с мамой прожили почти год, пока нам не дали комнату в квартире соседнего дома. Среди детей общежития было

несколько и моих ровесников, преимущественно девочек.

На нашем чердаке я старался бывать пореже. И потому уроки я частенько делал у мамы в отделе. Никто не возражал, хотя я конечно при этом мешал маме работать.

Иногда после школы я ходил в гости к одному однокласснику. В его семье была неработающая бабушка и нормальная комната с хорошо натертым паркетом, на котором мы во что-то играли. Бабушка, даже в то голодное время, не считала обременительным кормить меня во время этих гостеваний вместе со своим внуком. Запомнил.

Город после блокады

Мы вернулись спустя всего пять-шесть месяцев после снятия блокады – до конца войны оставался почти год. Город еще хранил множество крупных и мелких ее свидетельств. На стенах домов еще были не стерты надписи «Бомбоубежище» со стрелкой под ними, указывающей где можно укрыться при воздушной тревоге или артобстреле. Известную мемориальную надпись – «Во время обстрела эта сторона улицы наиболее опасна», сохраненную на одном из домов на четной стороне в начале Невского, можно было видеть на многих домах города. Окна еще сохраняли остатки полос белой бумаги, которые в блокаду наклеивали крест-накрест на стекла, чтобы они не разлетались если будут выбиты взрывной волной.... Разве что мешки с песком из витрин магазинов уже убрали, и улицы, во всяком случае в центре города, уже подметались дворниками.

На месте клодтовских коней на Аничковом мосту во всю площадь их гранитных постаментов стояли сколоченные из досок и наполненные землей низкие короба, засеянные аютиными глазками (сами кони еще были закопаны в Екатерининском саду). Но наиболее сильное впечатление производили разбомбленные дома. Фугасные бомбы и тяжелые снаряды, использовавшиеся для обстрелов, специально были устроены так, что они взрывались только предваритель-

но пробив своей массой почти весь дом сверху дóнизу. В результате от дома часто отваливалась наружная, обращенная на улицу, его часть, а другая часть оставалась стоять. Линия такого разлома проходила по комнатам, лестничным маршам, по всем строительным элементам квартир и, вообще, по всей «начинке» дома. В сохранившейся части комнат можно было видеть стоящие шкафы, столы, опрокинутые стулья, кровати, изредка даже рояли или пианино. Иногда над таким разломом частично зависала крупная мебель.

Все это производило ужасное, удручающее впечатление. Оно усугублялось тем, что зачастую напоминало обычную театральную декорацию, призванную изображать внутреннее убранство комнаты, в которой не хватало лишь действующих лиц. «Декорация» эта была довольно разнообразна от комнаты к комнате, различаясь, прежде всего, цветом обоев, ну и обстановкой конечно... Будучи помножена на большое количество таких комнат на всех этажах многоквартирного дома, она создавала какое-то фантасмагорическое зрелище, подобное разъятому трупу. Только в данном случае не человеческому, а трупу дома. Тяжелое, незабываемое зрелище!

Особенно мне запомнились два таких разбомбленных, всем известных дома. Один, Невский, 68, на углу Фонтанки и Невского, напротив дворца Белозерских-Белосельских, был как раз рядом с домом, где разместился наш 8-ой ГПИ. Другой, в конце Невского, на его четной стороне, – второй (или третий?) от угла Невского и Исполкомской улицы. Там

долгое время потом был кинотеатр «Призыв». Мне часто приходилось бывать почти напротив этого дома, на Невском 147, – туда вернулись на свою довоенную жилплощадь, в большую коммунальную квартиру буся с Люлей.

В таких разбомбленных домах подвалы, как правило, сохранялись целыми. В виду дефицита площади их старались использовать – там обычно размещались различные мелкие заведения соцкультбыта – магазинчики, тир, пункты приема прачечных и т. п.

В общем, следов недавней блокады было еще в избытке, и усилий одних коммунальных служб не хватало, чтобы привести город в порядок. Поэтому каждый относительно здоровый взрослый ленинградец был обязан отработать определенное количество часов в месяц по благоустройству города. Для учета такой деятельности всем рабочим и служащим выдавались специальные книжки, в которых отмечалось где, когда и сколько (в часах) ее обладатель отработывал, и что он конкретно делал. В ряде случаев люди отработывали этот вид трудовой повинности у себя на работе. Разбирая мамины бумаги после ее кончины, я нашел такую книжку с соответствующими записями. По-моему, подобных экспонатов нет в Музее истории Ленинграда, а стоило бы иметь.

Преступление и наказание

Мальчишка я был довольно шустрый и без комплексов. Когда меня спрашивали кем я хочу быть когда вырасту, я, нимало не смущаясь, заявлял, что хочу быть Солиным. Заявление весьма наглое, если учесть, что Солин был директор 8-ого ГПИ. Крупный рыхловатый мужчина в очках, высокий, слегка сутулящийся, с узким аскетичным лицом, неразговорчивый и строгий. Ходил в кожаном пальто. Сотрудники его побаивались и, кажется, уважали – за должность или за деловые качества, не помню.

Причем эти мои наглые заявления по поводу будущей карьеры никак, мягко говоря, не сочетались с моими достижениями на учебном поприще. Из первого во второй класс меня перевели, главным образом, за мои скрытые возможности, интуитивно ощущаемые нашей учительницей. Почему-то я никак не хотел их проявлять в более конкретной форме – в виде обычной приемлемой успеваемости.

Как я теперь понимаю, тяга к литературному творчеству созрела во мне довольно рано. Едва научившись писать, я сразу же решил применить это умение на практике. И применил. Причем так, что стал в 8-ом ГПИ весьма известной личностью. Увы – со знаком минус.

...Видимо еще на генном уровне я был любознательным

ребенком. В частности, меня заинтересовала реакция пользователей нашей общей кухни, если на ее двери вдруг появится «плакат» с двумя самыми распространенными в нашем отечестве не одно столетие матерными словами. Одно из которых, как известно, из трех букв, а второе, несколько менее выразительное, поскольку все же состоит из целых пяти. К тому времени моя эрудиция давно достигла такого уровня, что я не только устно освоил эти два широко употребляемых слова, но уже вполне мог изобразить их письменно. При этом я предполагал остаться безнаказанным, поскольку помещал свою хулиганскую писульку на дверь кухни без свидетелей. И даже сообразил, вешая ее, использовать стул, чтобы все выглядело так, как будто ее вообще повесил взрослый. Поэтому я ожидал, что в случае чего в подозреваемые попадут как минимум несколько десятков человек. Вычислить мое авторство из такой толпы народа, как я полагал, будет невозможно даже великому Шерлоку Холмсу с его дедуктивным методом. Впрочем, о существовании как данного метода, так и его автора я тогда еще даже не подозревал – я пытаюсь отобразить общее направление моих мыслей.

Уединившись в нашей «комнате» на чердаке, я старательно вывел своим неустановившимся детским почерком эти два, широко употребляемых в определенных кругах слова на половинке листка из школьной тетради по чистописанию для первого класса. Критически рассмотрев свою работу, я остался доволен результатом. Выждав момент, когда на кух-

не никого не было, я приклеил сей листок конторским клеем к ее двери. После этого быстро ретировался, и стал с любопытством и легким волнением ждать реакции посетителей кухни.

Реакция последовала. Причем по нарастающей. Первыми стали о чем-то возмущенно шушукаться между собой пожилые матери сотрудников, проживающих в общежитии, – именно они в основном эксплуатировали это помещение общего пользования в дневное время. Я с независимым и, естественно, невинным видом прошел мимо кухни – моего «плаката» на дверях уже не было.

По завершении рабочего дня к возмущению старушек присоединилась и более молодая часть обитателей общежития, вернувшаяся с работы. Почувствовав, что я перешел некую грань в своем то ли баловстве, то ли хулиганстве, я в напряжении слонялся по институту, ловя на себе вопрошающе-недоумевающие взгляды некоторых взрослых, узнавших о происшествии. Но прямо мне никто ничего не говорил – по-видимому, полной ясности относительно порочной личности, совершившей этот хулиганский поступок, еще не было – шло «следствие». Тем не менее, я интуитивно почувствовал, что где-то прокололся, и что мое дело дрянь.

Следствие шло недолго. На основе имевшихся в его руках улик, оно быстро пришло к выводу, что это дело рук преступника ориентировочно от шести до девяти лет от роду. В этой возрастной категории имелось лишь несколько мало-

хольных девочек – скромных маменькиных дочек, я и трехклассник Сеня. Сеня был крайне положительный, вежливый и аккуратный мальчик. Отличник. И к тому же не проживавший в общежитии, но, правда, часто приходивший в институт к отцу. Кроме приведенной выше роскошной характеристики, позволившей Следственному комитету фактически единогласно исключить Сеню из числа подозреваемых, он еще являлся на всякий случай сыном главного инженера института Лившица. И уже по одной этой причине, как жена цезаря, был вне подозрений. Так что все сходилось, увы, на мне.

Мама, еле сдерживая слезы, была, тем не менее, сурова и непреклонна. Грубо суя мне в физиономию объект моего преступления, который ей выдали для завершающих следственных действий, она требовала от меня чистосердечного признания. Я категорически отпирался, уповая на отсутствие прямых улик. Не помню, выдрала она тогда меня или нет – в любом случае мне было довольно тоскливо. Но я так и не признался, – как вследствие банальной трусости, так и морально поддерживаемый лучшими образцами патриотического кинематографа. К тому времени я уже достаточно посмотрелся фильмов, где пойманные с поличным наши партизаны и разведчики умирали, но не выдавали гестаповцам ни одной военной тайны.

Реальным следствием моего проступка явилось запрещение всем девочкам-ровесницам иметь со мной хоть ка-

кие-нибудь отношения, и несколько удивленные взгляды маминых сотрудников-мужчин. Эти взгляды я ловил на себе когда приходил к маме в отдел за помощью в выполнении домашних заданий. Взгляды сопровождались с трудом сдерживаемыми улыбками «сквозь усы», и носили какой-то двусмысленный характер – то ли осуждающий, то ли поощряющий.

При воспоминании об этом моем детском преступлении в качестве некоего «заключительного аккорда» мне захотелось рассказать об одном, необъяснимом для меня самого случае, произошедшем ни много – ни мало спустя ровно... пол века.

Сеню Ливища, фактически закадрового персонажа данной истории, мне по ее завершении конечно приходилось видеть еще не раз. Приятелями мы не были – скорее знали друг друга, что называется, «в приглядку». Думаю, что последний раз я видел его, да и то мельком, когда мне было лет двенадцать, а ему, следовательно, лет четырнадцать – примерно в это время мама поменяла место работы.

1994-ый год. В этот период я часто ходил пешком от метро «Чернышевская» по Фуришадской и далее через Таврический сад на Шпалерную улицу. Там был офис одной фирмы, где я трудился в то время. Параллельно с работой в НИИ, где в эти исключительно тяжелые годы зарплата была чисто символическая. И вот иду я однажды через Та-

врический, а навстречу мне... Сеня Ливищ. Вот так вот прямо и идет! Мне даже секунды не потребовалось, чтобы опознать его спустя пятьдесят лет. Сам не понимаю, как такое возможно. Сеня мельком скользнул по мне слегка удивленным взглядом, – что это вдруг какой-то незнакомый мужчина уставился на него, – и мы разминулись. У меня не возникло даже малейшего сомнения, что это был он. Надо вернуться, догнать его...! Но в первый момент я как-то растерялся, а мы с каждым шагом все дальше и дальше удалялись друг от друга. Иду и ругаю себя во всю – в кои веки мелькнула возможность соприкоснуться со своим детством, а я так по идиотски упустил ее...

Но видимо сентиментален был не только я, но и Госпожа Судьба – спустя несколько дней, там же, в Таврическом саду я вторично встречаю идущего мне навстречу Сеньку.

– Простите, Ваша фамилия не Ливищ?

– ...Ливищ, – ответил он несколько удивленно, глядя ваясь в меня, но совершенно не узнавая. – А мы знакомы?

– Простите, а Ваш отец не был в сороковых-начале пятидесятых главным инженером 8-ого ГПИ?

– Был.

– А Вам ничего не говорит фамилия Гермер?

– Говорит...

– Видите ли, я не знаю, что она Вам говорит, но во время войны у меня там работали папа и мама. А я – Милик Гермер, и мы были с Вами слегка знакомы, когда Вам было лет

восемь-десять, а мне года на три меньше. А как Ваши папа?
– Папа умер уже пятнадцать лет назад...

Далее я узнал, что Сеня в свое время окончил Технологический институт имени Ленсовета, а спустя несколько лет, как и положено бывшему школьному отличнику и мальчику из интеллигентной инженерной семьи, защитил кандидатскую. А еще через энное количество лет – и докторскую. Сейчас он профессор этого же института и параллельно, как и я, совмещает в какой-то производственной фирме... Меня он смутно помнил, истории, о которой я писал выше, мы не касались. Мило поболтали еще немного о том, о сем, обменялись телефонами... Но ни он мне, ни я ему почему-то больше так и не позвонили.

Да, видимо действительно, – в «одну воду нельзя войти дважды»; эту древнюю истину, когда приходит время, каждый открывает для себя заново сам.

«День Победы, как он был от нас далек...»

Действительно, даже от меня, малолетки, этот день был далек. Но по иной причине, чем для взрослых. Просто после возвращения в Ленинград все вокруг только и говорили о приближающейся победе... День Победы был все ближе и ближе, но почему-то никак не наступал. Миновал 1944-ый, прошла уже треть 1945-ого, а он все приближался, но никак не хотел наступить – как линия горизонта, удаляющаяся по мере приближения к ней. И потому стал казаться каким-то далеким, как недостижимая мечта. И вдруг, как-то совершенно неожиданно для меня, он действительно наступил!

В Ленинграде он, слава богу, пришелся на ясный, солнечный день. Вряд ли его уже успели официально объявить нерабочим, но, думаю, что в этот день не работали все, кому только это мог позволить характер работы. Весь город, – от малолетних детей до глубоких стариков, – вывалился на улицу, все были возбуждены до предела. Невский был полон разномастного, неупорядоченного в своем хаотическом движении народа, казалось съехавшегося сюда со всех концов города. Каким образом – не знаю, так как транспорт сквозь эту человеческую подвижную массу двигаться, естественно, не мог, да, по-моему, не очень-то и пытался.

Наш 8-ой ГПИ на Невском 70, весьма режимный проект-

ный институт, стоял с распахнутыми дверьми, и сотрудники, и члены их семей (а при желании мог и вообще кто угодно) сновали туда-сюда между улицей и актовым залом на втором этаже. Там дирекция так и не смогла организовать митинг – он захлебнулся в хаосе всеобщей человеческой радости и восторга. Все обнимались, целовались, поздравляли друг друга... Больше всего, естественно, досталось немногочисленным военным – их, кроме объятий и поцелуев в неисчислимых количествах, еще пытались качать или уже качали. Из-за возбуждения всех и каждого выпивших от трезвых было не отличить; но явно пьяных видно не было.

Маму я потерял довольно быстро. Как-то так получилось, что я оказался вместе с Наташей Птицыной – дочерью маминой подруги, еще даже младше меня на пару лет. Скорее всего, мне ее поручили наши мамы, охваченные этим всеобщим ажиотажем и восторгом, – уж они-то хлебнули войны вдосталь, и кому-кому, а им этот праздник принадлежал в полной мере. Я помню, как, боясь потерять Наташку, все время держал ее за руку, что довольно сильно сковывало меня. Но, с другой стороны, ответственность за нее придавала несколько большую уверенность, которая даже мне, достаточно уличному ребенку, тем не менее, была необходима в этом бушующем, хоть и по-хорошему, человеческом море.

По-моему, уже к концу 1945 года последовали награждения по случаю окончания войны. Мама и прочие рядовые

сотрудники получили свои медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Тогда к этой полноценной правительственной награде все отнеслись без особого пиетета, поскольку ею были удостоены все, кто работал в период войны. А это подавляющее большинство твоих соседей, друзей, сослуживцев, миллионы и миллионы, как их называли тогда в прессе и по радио, тружеников тыла. Но если посмотреть, как говорится, через призму лет, то цена этой награде весьма немалая. В тех условиях, в которые свергла народ война, даже просто выжить, сохранить своих детей, принося при этом своим трудом еще и пользу воюющему народу, это был действительно подвиг. И немалый. Хотя конечно сами награжденные и являлись этим народом.

Начальство, естественно, получило награды повыше. Помню, начальник маминого отдела Штукин и его заместитель Орленко получили ордена Трудового Красного Знамени и т. п.

В те весьма строгие годы отмечать непосредственно в учреждении, тем более режимном, какие-либо праздничные даты или события, даже самые великие и официальные, как это делается сейчас в большинстве самых разных организаций, категорически исключалось. Мы жили ближе всех к маминой работе (в соседнем доме, где незадолго до этого события нам дали комнату). Кроме того, одна из двух других комнат квартиры еще стояла опечатанная, а еще одну сосед посещал только изредка. Тем самым создавалась некоторая

кулуарность, столь редкая в то время перенаселенных коммуналок. Поэтому, естественно, всем отделом было решено отметить получение наград на нашей скромной территории.

В нашей двадцатиметровой комнате, уже имеющей, хотя и крайне скромную, мебель, которая, увы, ощутимо сокращала свободное пространство, собралось человек сорок – весь отдел без исключения. Как решили проблему со столами – не помню, а со стульями довольно просто и традиционно для подобных случаев – с помощью толстых досок, уложенных концами на табуретки и стулья.

Несколько дней перед этим грандиозным мероприятием между 8-ым ГПИ и нашей квартирой сновали мамины сотрудницы, которые что-то готовили у нас, что-то приносили из дома... И, наконец, наступила долгожданная суббота, на которую был назначен банкет (роль теперешней пятницы тогда играла суббота, поскольку рабочая неделя, увы, еще была шестидневная). Естественно, нашелся кусочек местечка и для меня. Тем более, что я был не чужой в отделе, если помните. Это было первое в моей маленькой жизни столь масштабное мероприятие по столь достойному поводу. Было страшно тесно, весело и, конечно, шумно. Как всегда в таких случаях, первые тосты – начальства. Их еще слушали внимательно, с торжественным выражением лиц. Однако вскоре тосты пошли навалом – каждому хотелось высказаться, выпить со всеми за Победу, но именно со своей подачи. Ну, и, конечно, признаться в любви родному коллективу и отдель-

НЫМ ЕГО ЧЛЕНАМ Т. Д. И Т. П.

Дом и двор

*Мой дом, мой двор – вы в памяти моей,
Вы ненароком так запали в душу,
Что я теперь уж не могу не слушать,
Ваш отзвук на закате своих дней!*

«Где эта улица, где этот дом...»

Январь 1945-ого. Мы с мамой после полугода жизни в общежитии получили в соседнем доме, на Невском 72, комнату в 20 кв. метров в трехкомнатной квартире 9-а (позже номер изменили на «22»). На последнем, шестом, этаже, вход со двора по бывшей «черной лестнице», правая парадная.

Когда, спустя много лет, я, уже студентом, ездил летом на юг, и при знакомстве с девочками говорил, что я из Ленинграда, а это всегда кое-что значило, они, то ли из любопытства, то ли пытаясь установить не вру ли я, не набиваю ли себе цену, обычно спрашивали где же именно в Ленинграде я живу? А я этак скромно, без нажима отвечал, что на Невском. Тем самым, с одной стороны, мои акции еще несколько повышались, а, с другой, подозрения, что я вру, усиливались. В девяти случаях из десяти таким саркастическим тоном следовал вопрос: – «Прямо-таки на Невском?».

Да, на Невском! Причем не просто на Невском, – Невский-то большой, – а я могу ответственно заявить, что мимо нашего дома проходил каждый взрослый ленинградец, и каждый «гость нашего города», как высокопарно принято теперь называть приезжих, то есть миллионы и миллионы людей. Потому что какой, скажите, приезжий или ленинградец (а теперь опять петербуржец) из любого района Питера не бывал на углу Невского и Литейного, или у Аничкова моста?

А наш дом находится как раз между этими всемирно известными точками. Может даже более известными, чем угол 42-ой авеню и Бродвея в Нью-Йорке.

Дом большой, построен был как доходный (дом М. В. Воейковой); вполне солидный, облицован серым камнем. Как я выяснил уже в наше время, построен в 1910 году, – типичный «петербургский модерн». Расположен прямо напротив улицы Рубинштейна (до революции – Троицкая) – его все знают.



Ну вот, если кому интересно, то чуть подробнее из Интернета: Невский пр., 72. Архитекторы: Минаш С. И. Год постройки: 1909–1910. Стиль: модерн.

Во дворе Минаш устроил кинематограф «Мастер-театр». В дворовом флигеле этого здания в советское время находились Дом Кино, а также первый в СССР звуковой кинотеатр «Кристалл-Палас», где в начале 1920-х работал тапером Д. Д. Шостакович. В 1920-х помещение кинематографа занимал «Свободный театр». В спектаклях участвовали Корчагина-Александровская, Л. Утесов, Р. Зеленая, И. Юрьева. До революции здесь был кинотеатр «Квисисана», который открылся в дворовом флигеле в 1910 г. Видимо позднее он был переименован в «Кристал-Палас». В 1929 г. в нем состоялся первый в СССР сеанс звукового кино. В 1917 г. в доме недолго помещалась редакция эсеровской газеты «Дело народа».

На основании распоряжения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории РФ, здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры регионального значения за № 10–33 от 20.10.2009 г.

Многие годы, тем более в детстве, и в голову не приходило, что мне довелось жить в доме, сыгравшем значимую роль в истории российской культуры.

Наш двор – наше всё!

Но главное для меня был, конечно, не сам дом, а его двор. Ей богу, при всей своей обычности, убогости и невыразительности он достоин пусть краткого, но отдельного описания. Хотя бы как место, где протекала фактически вся внешкольная часть детства – не только моего, но и моих товарищей по двору. Двор был и наша спорт-площадка, и площадка для игр, и дискуссионный клуб, и «место встречи (которое) изменить нельзя», и место «разборок» и т. д. и т. п.

Это был обычный двор-колодец каких от дореволюционного Петербурга тогда еще сохранилось немало: огороженная стенами шестиэтажного дома заасфальтированная площадка в форме перевернутой буквы «П». Такая форма получилась поскольку сзади в центр прямоугольника двора размером 14 на 18 метров вдавался выступ входа в Дом Кино, занимавший около половины его общей площади. Нам для игр оставалась, главным образом, «перекладина» буквы «П». За вычетом площади помойной ямы (слева) и спуска в подвал (справа) – около 100 кв. метров. По-моему, место для прогулок заключенных во внутренних двориках тюрем заметно больше. К центру «перекладины» примыкала подворотня глубиной 17 метров, выходящая на Невский. Вот и всё наше «царство». Размеры достаточно точные – замерял недавно, спустя почти семьдесят лет.

Однако, под понятием «двор» я имею в виду не столько сам двор как некое пространство, сколько ребят – товарищей моего детства. Тогда весь свой досуг ребенок школьного возраста, особенно младшего школьного, обычно проводил во дворе. И основные друзья, как правило, были не из школы, а «ребята с нашего двора»; лишь иногда и те, и другие. Сейчас обычно не так – мои сыновья выросли почти не общаясь со своими сверстниками из нашего дома – все основные товарищи были из их же класса.

Вот они, друзья моего детства: Марик Гуревич, его младший брат Яшка; чуть позднее появились Эдик Попов и Инна Раева. Все фактически ровесники – разница между нами была плюс-минус один-два года, не больше. Другие ребята почти не запомнились почему-то, да и было их, других, немного. Вот за краешек памяти зацепилась несколько манерная Лариска с шестого этажа по левой парадной; еще девочка, Надя кажется. Но у многих интеллигентных родителей тех лет, особенно родителей девочек, считалось, что общаться с «дворовой компанией» – это дурной тон. Наверно поэтому девочки, кроме Инки, выходили во двор лишь изредка, и заметного места в нашей жизни не занимали.

Как видно, наша дворовая компания была очень невелика. Вспоминаю, что когда для игры в «прожигалы» (следующие поколения детей эту игру, по-моему, называло «вышибалы», что логичней, поскольку двое водящих «вышибали» маленьким мячиком тех, кто бегал между ними) или в фут-

бол ребят не хватало, шли звать из соседнего, 74-ого дома. Это огромный дом, с большущим двором, тогда еще мощеным булыжником. Там всегда можно было найти во дворе пару-тройку ребят ничем особо серьезным не занятых.

У меня, Эдика и Инки кличек во дворе не было. А вот Марика и Яшку никто из нас и они друг друга по именам не звал – только по кличкам. Марик – был Карлик, а Яшка – Корова. Самое необычное было то, что прозвища эти им дали отнюдь не мы, а сами родные братья друг другу.

Корова – это от «рёва-корова»: когда Яшка был маленький и Марик его обижал, то Яшка сразу ревел, чтобы быстрее привлечь внимание заступников-родителей или их самого старшего брата Семы. (Сема в нашу компанию не входил – он был лет на восемь старше даже Марика).

Яшка был среди нас самый младший – двумя годами младше и чуть мельче меня, и на четыре года младше брата. На Марика он был совсем непохож. У него были большие, очень красивые и печальные еврейские черные глаза. Выразительность своих глаз он сохранил на всю жизнь, в чем я убедился, случайно встретив его спустя лет тридцать после детства.

Марик был самый старший из нас. Небольшого роста для своего возраста (лет десять на начало знакомства). Как и положено Гуревичу, он был брюнет и имел довольно заметный, обычно простуженный нос, из-за чего слегка гнусавил. Карлик – это Яшка постарался в отместку брату за все детские

обиды. Основанием послужили сетования их родителей по поводу отставания Марика в росте.

Эдик был мой ровесник, высокий для нашего возраста блондин, с волосами, зачесанными «по взрослому» назад, в очках, которые он аккуратно снимал перед дракой, державшийся спокойно и с достоинством.

Инка, появившаяся в нашем дворе позже всех, спустя года два или три после Эдика, когда мне уже было лет одиннадцать, была на год старше меня. Невысокая девочка, с выразительными темно-кариими глазами и абсолютно неправильными чертами подвижного лица в обрамлении мягких, темных волос. Она была проста в обращении, компанейская и без выпендрёжных девчёночьих повадок, чем снискала нашу общую симпатию.

Ну и для полноты картины наверно я должен описать и себя в те годы. Милька, то есть я, был невысокий, щуплый, белобрысый мальчишка, слегка губошлепистый, очень шустрый и миролюбивый, с густыми жесткими волосами, зачесанными набок, как у большинства мальчишек в те годы.

Главного в нашей компании не было. Марик, хоть был и старший, не обладал задатками лидера, да и не стремился командовать. Так что как-то так получалось, что все у нас решалось по общему согласию, без указаний лидера. Дрались между собой мы крайне редко. За все детство помню не больше двух-трех драк. Все с участием Эдика. Он был хоть и самый спокойный из нас, но и наиболее обидчивый. А, на-

чиная с класса шестого, он иногда давал поводы, чаще всего мне, опрометчиво задевать его самолюбие.

Воскресенье... Дело к вечеру, но май или июнь, и потому еще совсем светло... Мы, не замечая времени, гоняем в футбол в нашем дворе-колодце, возбуждены, орем – все так же, как сейчас, когда в футбол играет мелюзга. (Правда, в таких дворах-колодцах, как был наш, теперь в футбол не играют, не принято вроде бы. Да и дворы такие заставлены машинами – не дай бог попадешь мячом в стекло какому-нибудь мерседесу или вольво).

На шестом этаже открывается окно, и мамин голос зовет – Ми-и-лик! До-мой! – Игра мгновенно прекращается, и я бегу к той стене дома, на которой находится наше окно – там мама из-за карниза под окном меня не увидит.

– Его нет! – орет в ответ маме Марик.

– Как это нет? Я слышала его голос.

– Да нет его, он куда-то ушел – врет Марик. Мама понимает, что ее обманывают, но с шестого этажа ни меня, ни правды ей не добиться. Она исчезает, и мы продолжаем игру. Наконец, мама подстерегла момент, когда я нахожусь у стены, противоположной окну, где она может меня видеть, и мгновенно открыв окно кричит

– Немедленно домой! Я тебя вижу! Немедленно, я тебе говорю, а то плохо будет!

– Да иду я, иду....

Я понимаю, что меня засекли неоспоримым образом. Да и на часах уже около девяти вечера, то есть требование мамы справедливо, и действительно пора домой.

– Завтра выйдешь? – следует от кого-нибудь формальный, не требующий ответа вопрос, поскольку ответ разумеется сам собой. Но, тем не менее, отвечаю утвердительно. Сердясь на маму, не торопясь, и еще не погасив возбуждение от участия в игре, я иду к своей парадной.

«А у нас во дворе...»

Бывший кинотеатр, о котором я вскользь упомянул выше, был когда-то не просто кинотеатром, а чуть ли не первым кинотеатром в Петербурге (с 1910 года), а позднее – с 1929 года – первым звуковым кинотеатром в СССР. В 1990-х ему вернули одно из его прежних названий – «Кристалл-Палас».

Так как при кинотеатре был не только кинозал, но и еще всякие помещения, в том числе и пригодные под ресторан, то послевоенные власти сочли логичным расположить здесь тогдашний «Дом кино». (В промежутке лет – после перевода «Дома кино» на ул. Толмачева, теперь опять Караванную, как до революции, – он довольно долго успел побывать еще и кинотеатром «Знание»).

Так что и двор наш был не какой-нибудь там, а Двор «Дома кино». В него – в «Дом кино», конечно, – а еще точнее, как я понял позднее, – в его ресторан, естественно, иногда заходили и известные киноактеры.

Помню, как лавируя между нами, увлеченно игравшими в футбол, к входу в Дом кино пробирался известнейший Василий Меркурьев («Небесный тихоход», «Три товарища» и т. д. и т. п....). Да и других отечественных кино-кумиров тех лет мы «в живую» перевидали немало.

– Пас, Карлик, пас!! – ору я во всю глотку Марику. Какой тут, на фиг, пас. Мы всей кучей носимся за кое-как на-

дутым мячом, представляющим собой обшарпанную об асфальт, протертую в швах дерматиновую, плохо зашнурованную покрывку. Из нее периодически выскакивает «пипка» – резиновый кончик камеры, через который она перед игрой по очереди надувается нашими хилыми детскими легкими.

Каждому самому хочется лишний раз вдарить по мячу, поэтому ни о каком пасе и речи быть не может. Наконец, кто-то бьет по воротам (игра, как правило, – в одни ворота), и Корова (вратарь) не хватает мяч, а чтобы не снижать накал игры, просто отбивает его ногой. Мяч по трудно определяемой траектории летит...и сбивает шляпу с какого-то дядьки, пытающегося пройти в «Дом кино».

Подобные ситуации случались не так уж редко. Поэтому дальше все происходит на рефлекторном уровне: ближайший к отскочившему мячу мгновенно хватает его, и обе «футбольные команды» общим числом человек пять-шесть, замирают, как стайеры перед стартом – все зависит от реакции потерпевшего. Если он проявляет агрессию, начинает «возникать», и, тем паче, пытается отнять мяч или схватить кого-нибудь из нас, то мы мгновенно убегаем на Невский, где нас уже не поймаешь... Если же потерпевший оказывается более выдержанным, и отряхнув рукой или перчаткой пыльное или грязное пятно на своем пальто (костюме), и пробурчав что-нибудь строгое в наш адрес, заходит в «Дом кино», мы тут же забываем о происшествии, и продолжаем играть как ни в чем не бывало.

На этот раз дядька оказался относительно спокойным. Он нагнулся за своей шляпой, выпрямился и, отряхивая ее, поднял на нас свой укоризненный взгляд... Мы остолбенели, открыв от неожиданности рты и потеряв способность даже шелохнуться, – пострадавшим на этот раз оказался кумир всего советского народа, пожалуй, самый популярный киноактер тех лет – Павел Кадочников. Фильм «Подвиг разведчика» с ним в главной роли, – эти «Семнадцать мгновений весны» тех послевоенных лет, – каждый из нас смотрел, как минимум, раза по три. Кадочников укоризненно покачал головой, и, продолжая отряхивать шляпу, прошел в «Дом кино». Если он пожалуется, нас ждут крупные неприятности. За такого человека нам администратор «Дома кино» врежет – мало не покажется. Поэтому мы не спешим продолжить игру. Но прошло несколько минут, а из «Дома кино» так никто и не вышел. Мы поняли, что опасность и на этот раз обошла нас стороной. Тем не менее, «кайф был сломан» и, потрясенные нами содеянным, мы уже потеряли всякую охоту играть.

Несмотря на свою статусность, наш «Дом кино» был заведением относительно демократичным. Помню, одно время, когда мне было уже лет тринадцать-четырнадцать, мама давала мне деньги, чтобы я, придя из школы, обедал в его ресторане, – днем он работал по более-менее доступным, так называемым, «дневным ценам», приближавшимся к ценам столовых. Вообще-то, днем в ресторан пускали даже с ули-

цы (но об этом мало кто знал), чтобы он мог «выполнить план». Дневные цены тогда практиковали почти все рестораны. Помню, раз, когда я там обедал, за соседним столиком общался с графинчиком водки весьма известный киноартист комедийного жанра Сергей Филиппов – некоторые, наверно, еще помнят его по сыгранной им гораздо позднее роли Кисы Воробьянинова в ранней киноверсии «Двенадцати стульев», или по эпизодической, но весьма колоритной роли поддатого лектора «Общества по распространению знаний» в одном из суперхитов 1950-х годов «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова.

Первый контакт с правоохранительным органом

Во дворе никого. Ни одной живой души. Ну и хрен с ними. Выйдут – куда денутся. Минут пять погонял какую-то случайную консервную банку. Последним ловким ударом загнал ее в помойку, которая в нашем дворе была «ниже уровня мирового океана» – в зацементированной яме с всегда открытой железной крышкой.

По-прежнему никого. Смотался во двор соседнего дома, Невский 74. И там, как назло, ни одного знакомого рыла. Вернулся. Тишина. Ну, что – идти домой делать уроки? Ну уж нет, – настроение какое-то не для уроков. Все мои мыслительные способности сфокусировались на вопросе, во все времена волновавшем российских интеллектуалов, – «Что делать?». Они мучаются над ним уже вторую сотню лет, а я своим детским неокрепшим умишком за минуту нашел ответ. Оказалось, что он содержался в кармане моих безразмерных прогулочных штанов. «Катюша»! Самое то, что надо для саморазвлечения в подобных случаях.

Вообще, как известно, слово «катюша» многозначно. Это и до сих пор не забытая предвоенная песня, и наш знаменитый реактивный гвардейский миномет времен отечественной войны, и самая успешная сегодня российская велосипед-

ная команда... и уже забытая зажигалка, делавшаяся в войну солдатами из патронной гильзы. Но это не все. «Катюша» – еще и самодельная мальчишеская игрушка первых послевоенных лет. Если я сейчас не опишу ее устройство и инструкцию по применению, более, чем вероятно, все это канет в Лету, и История мне этого не простит. Ну, вот кто, например, сейчас помнит машинку для самодельного набивания папирос? Не сам факт ее существования, а именно ее устройство? Или что из себя представляло устройство по снятию нагара со свечей? А оно, между прочим, было в каждом более-менее состоятельном доме. Так что кому неинтересно может пропустить, а я все-таки попробую: *один конец веревки длиной примерно в пол метра привязывался к шляпке гвоздя, другой – к кольцу ключа. В углубление на его противоположной стороне – там, где «бородка», – насыпалась сера, скобленная с пяти-семи спичек, и сверху вставлялся гвоздь. Ключ с вставленным в него гвоздем брался в левую руку, а правой посередине натягивалась веревочка (натяжение не позволяло гвоздю вывалиться из углубления в ключе). Затем, не ослабляя натяжения, следовало размашистое движение, в завершение которого шляпка гвоздя ударялась об стенку, конец гвоздя бил по сере, и раздавался микровзрыв со звуковым эквивалентом, равным револьверному выстрелу или даже громче.* Вот и все дела – просто и здорово в представлении десяти – тринадцатилетних мальчишек. Надеюсь по этому описанию любой желающий теперь сможет изгото-

вить и привести в действие нашу «катюшу» – на манер мастеров, которые изготавливают для себя или даже для музеев действующие модели многообразных оригинальных изобретений Леонардо Да Винчи по его рисункам или описаниям.

Вот это самое «оружие» я и носил постоянно в кармане своих «прогулочных» штанов. Так, на всякий случай. Вдруг захочется бахнуть для личного удовольствия или напугать девчонок.

Но бахать вхолостую, для самого себя все-таки как-то не очень. А вот напугать какую-нибудь проходящую мимо тетку – это уже кое-что. Я зашел в нашу подворотню, выходящую на Невский, достал из кармана спички, «катюшу», зарядил ее... Наконец появилась какая-то зашморканная тетенька: в аляповатой маленькой шляпке, в плаще непонятного фасона, явно не чищенных сегодня туфлях, и совершенно без особых примет – что называется гражданка и гражданка, и все тут. Она шла, слегка опустив голову, углубленная в свои проблемы, не замечая ни меня, и вообще ничего вокруг. Поровнялась со мной, прошла мимо... и тут я ка-а-к... жажну!!! От неожиданности она аж подскочила, побледнела вся и как напустился на меня с разнохарактерными словами возмущения – в общем, самое то, что надо для моего полного морального удовлетворения!

И все бы ничего, и даже вполне здорово... Но оказывается, как назло, во время этого салюта по Невскому, мимо подворотни проходил мильтон. (Это мы, мелюзга, так тогда

называли недавних ментов, а ныне полицейских – по случаю нашей интеграции в мировое сообщество. Те же, кто постарше и пошпанистее, называли их легавыми). И похоже, что он даже был при исполнении – в шинели, фуражке и прочих прибабасах – в португее, с кобурой на боку и т. д. Он остановился и так любознательно смотрит... И на его лице прямо-таки видна совершаемая им сложная мыслительная работа, направленная на то, чтобы сообразить – чем это я издал столь похожий на револьверный выстрел звук? Я, признаться, от этой неожиданной встречи слегка растерялся. Так вот мы и стоим. И смотрим друг на друга: я – растерянно и испуганно, мильтон, значит, заинтересованно. Потом он вдруг этак повелительно подманивает меня пальчиком. И сопровождает этот унижительный жест весьма банальным требованием: – Ну-ка, мальчик, покажи, что это у тебя там? – Я, конечно, понимаю, что демонстрация ему «катюши» в лучшем случае закончится ее безусловной конфискацией. И, ежику ясно, – надо срочно линять! Линять-то линять, а куда? – он стоит при выходе из подворотни на Невский, а сзади у меня – лишь чуточку квадратных метров нашего ущербного прямоугольного двора с двумя парадными в углах (правая – моя). Ну, сообразать пришлось быстро. Я и сообразил: дом-то шестизэтажный, на каждом этаже по паре квартир, я живу на шестом этаже; если я сейчас дуну со всей силы к себе вверх, то, вероятнее всего, он вряд ли за мной потащится (тем более, погонится), да и подниматься будь здоров. Да

еще угадать надо в какую из двух парадных я побежал. Да и вообще, с чего бы это? Я что – убил кого, что ли? На кой хрен я ему нужен, если по-серьезному. Ему что – делать совсем нечего? А за мной ему фиг угнаться. Я десять раз успею нырнуть в свою квартиру, а он снизу еще пусть определит в какую именно.

Обратите внимание насколько мысль компактней слова: то, что промелькнуло у меня в мозгу за долю секунды, для описания потребовало целый абзац. Хотя я искренне старался, чтобы словам было тесней, поскольку они использованы для изложения не таких уж глубоких мыслей...

Ну, в общем, дунул я со всей мочи к себе в парадную, и через две ступеньки, со скоростью пули – наверх. Благо дышалка и сердчишко тогда позволяли. Бежать стараюсь потише, чтобы он не увидел в какую квартиру. Но несколько раз все-таки посмотрел сверху – идет он за мной или нет?! И что вы думаете? Таки идет, гад! Заметил в какую именно парадную я забежал, и идет. Не спеша этак поднимается, понимая, что по большому счету деться мне от него некуда. Видимо он точно решил, что я из револьвера стрелял. После войны, конечно не у такой мелюзги, как я, а у шпаны постарше, бывали револьверы, продаваемые «черными следопытами», – тогда, правда, этого названия для таких «археологов» еще не существовало. Вот мильтон и подумал наверно. И на всякий случай решил проверить. Ишь какой бдительный и добросовестный! А мне-то каково?! – я за всю свою бурную, но

пока коротенькую жизнь, еще ни разу не соприкасался ни с одним представителем ни одной правоохранительной структуры. Но наслышан, конечно, был. И образ тех из них, которые работают, как теперь принято говорить «в поле», то есть непосредственно с народом, в изображении моих старших приятелей вырисовывался какой-то, мягко говоря, не очень харизматичный. А насколько эти сведения были объективны? Ну как об этом было судить десятилетнему полубеспризорному мальчишке? – своим-то приятелям вроде доверять надо. А до появления эпохального фильма «Место встречи изменить нельзя», где становилось ясно, что эти самые милитоны, менты, ментяры, легавые самые что ни на есть самоотверженные и бескорыстные, да к тому же еще и героические люди, тогда еще оставалось лет тридцать, не менее. Образ же легендарного друга всех детей михалковского милиционера дяди Степы, то ли тускнел в моем сознании по сравнению со страшилками товарищей, то ли в заботах военных лет мои родители вообще забыли донести его наличие до меня? Сейчас уже не помню.

...Короче, бегу я чуть ли не на цыпочках, через две ступеньки – это при моем-то росточке, – от усталости меня уже мотает от перил к стенке и обратно, а он этак неторопливо и, главное неотвратимо, поднимается вслед за мной. Но может быть мой план и сработал бы, не сделай я перед тем, как тихохонько нырнуть в свою квартиру, необычайную глупость – решил последний раз взглянуть, где он сейчас чапает. Пере-

гнулся через перила и взглянул вниз. И так совпало, что и он, гад, в тот же момент решил уточнить, где это нахожусь я, — и тоже перегнулся через перила и взглянул вверх. И взгляды наши встретились! А находился я уже у самой своей квартиры. Вот так вот!

Но выбора у меня уже не было: я влетел в квартиру, все же постаравшись потише закрыть за собой дверь, и нырнул в кухню, которая у нас располагалась при входе. Гутя, соседка, была в своей комнате, меня не видела, и вроде бы и не слышала. Я засунул «катушку» в первую попавшуюся пустую кастрюлю из стоявших на неработающей плите. Плита эта использовалась в нашей коммуналке как общий стол для керосинок, примусов, ну и кастрюлей конечно. Сел тут же на табуретку, стараясь восстановить дыхание и придать себе вид сидящего так уже давно.

Слышали ли вы когда-нибудь приближающиеся «шаги командора»? Этакие тяжелые, неторопливые, но неотвратимые шаги карающей Судьбы? Ну не в театре, конечно, не на спектакле пушкинского «Каменного гостя», о котором я тогда и понятия не имел, а в жизни? Наверяд ли. А я вот слышал! Точнее не слышал, а ощущал всем своим трепещущим от страха, малохольным десятилетним существом: раз-ме-рен-ные шаги мильтона по лестнице. С каждым следующим шагом они отзывались во мне все громче и громче!

Мою какую-то внутреннюю, потустороннюю, но пря-

мо-таки осязаемую связь с ними подтверждает то, что звонок раздался точно в то мгновение, когда я, почти теряя сознание от нервного напряжения, его и ожидал! Звонок был длинный и уверенный. Так могла звонить только сама неотвратимая Судьба... или законный Представитель Власти, осознающий свое полное право сделать с тобой все что угодно!

Дыхание у меня пресеклось, сердце остановилось, я сжался, недвижимый, на своей кухонной табуретке и, ... видимо, чтобы уж совсем доконать меня, секунд на пять повисла тишина. Наконец раздался второй, еще более длинный и уверенный звонок. Из своей комнаты неспеша выползла Гутя, подошла к двери и спросила кто. Ей что-то ответили, но она не торопилась открывать, и их диалог, который мне было плохо слышен за закрытой кухонной дверью, продолжался еще некоторое время. Наконец, по-видимому с помощью дверного глазка, убедившись, что за дверью действительно представитель власти, она открыла ему. Лампочки в начале коридора не было, свет туда мог поступать только из кухни, поэтому почти сразу же дверь распахнулась...

Не знаю, как восприняли увиденное они, а моим глазам предстал огромный дядька этакого рязанского вида, в полной милицейской выкладке, перекрывавший весь проем двери. Он неторопливым взглядом окинул меня, кухню... – Ну и где у тебя это твое «оружие»? – И хотя я понимал, что все – «финита ля комедия», как говорится, – потерять самоуважение, и так вот, без всякого сопротивления взять и сдаться

на милость победителя, я не мог – мой «менталитет» этого не позволял.

У нас, дворовой малышни, было много всяческих типовых присказок и выражений на все случаи жизни. Например, когда тебя спрашивали где лежит какая-нибудь вещь, а ты не хотел говорить, то полагалось отвечать: – Где, где? – на верхней полке, где еб...ся волки!

Забыв от волнения с кем имею дело, но все-таки успев осознать непечатное окончание этого присловья, бледный и нахохлившийся, я нашел в себе смелость нахально ответить представителю закона только его первой половиной: – Где, где? – на верхней полке!

Естественно, ждать достойной эрудиции от этого мильтона не приходилось – откуда ему знать наш детский шпанистый «сленг». Поэтому он воспринял мой ответ слишком буквально, а не как грубость: – Во, – сказал он, обращаясь к Гуте, – уже и на верхнюю полку спрятать успел.

Но Гутя, благодаря регулярному общению со мной, была менее наивной, чем этот рязанский парень, и почувствовала, что мой ответ нельзя понимать буквально. – Ты еще грубить будешь товарищу милиционеру!? Немедленно давай сюда что там у тебя!. – Но капитулировать тотчас после первого нажима – это было как-то чересчур. Поэтому, понимая свое поражение, я, для «сохранения лица» все-таки еще чуточку поприпирался с ними. Но в итоге, конечно, пришлось достать мою, собранную собственными руками, безотказную

«катюшу»... из гутиной кастрюли.

Когда она увидела где та была спрятана, ее чуть «кондратий не хватил». – Ах ты негодяй паршивый! Всякую гадость класть в кастрюлю, где готовится еда!? Что ты в вашу кастрюлю не положил?! – Гутя побагровела, и на мою многострадальную голову обрушился пополам с брызгами слюней такой каскад пожеланий, среди которых призывы подвергнуть меня высшей мере наказания выглядели бы далеко не самыми сильными. Правда, она всю жизнь держала себя за интеллигентную женщину, и потому непечатных слов в ее лексиконе не содержалось. Но по темпераменту, с которым это все излагалось, им там было самое место. Милиционер стоял слегка обалдевший и растерянный, с восхищением и любопытством глядя на источник этого извержения. На время, пока оно продолжалось, он явно почувствовал себя здесь несколько лишним.

...Любознательности ему было не занимать. Он довольно внимательно отнесся к моему «оружию», и вертел его в руках, пока не сообразил, как оно работает. Затем открыл свою кожаную сумку-планшет, висящую на боку, и аккуратно положил «катюшу» туда – как улику моего преступления, что ли?

Я внутренне уже смирился с утратой свой личной собственности, так что этот его маневр меня особенно не тронул. Но теперь наступил «момент истины» непосредственно для меня – теперь должно было последовать наказание. А вот

к этому я еще не был готов: вот так, прямо, как говорится, «с вещами» следовать за ним бог знает куда? В отделение что ли? Или прямо в тюрьму? – возможности милицейской власти в моих глазах в том возрасте, впрочем как и сейчас, были безграничны. Учитывая тяжесть содеянного, и известные мне от приятелей непреклонность и жестокосердность этой самой власти, а также будучи уже знаком с тезисом о неотвратимости наказания, я ожидал всего, понимая, что никакие мольбы и слезы, никакие «дяденька я больше не буду» здесь не помогут.

...Милиционер, игнорируя меня, обернулся к Гуте, которая с надеждой ожидала услышать выбранную им жесткую меру пресечения, и ...попросил передать моим родителям, когда они вернутся с работы, чтобы впредь не допускали моего баловства с подобными игрушками. Правда, объяснения, почему эта игрушка представляет собой опасность для общества или для меня лично при этом не последовало. И потому осталось непонятым присутствующей «общественностью». Во всяком случае, мною. Но такое объяснение безусловно должно было существовать. Иначе как объяснить, что представитель власти потратил на раскрытие этого инцидента не менее получаса, даром топал на шестой этаж... и все из-за какой-то сущей ерунды, из-за безобидной детской самоделки? А в это время на вверенном ему участке, вполне вероятно, произошло ... В общем, дальше можно не продолжать – итак все понятно.

Понятно-то понятно... Понятно это сейчас, а тогда я, выражаясь несколько фигурально, может даже поседел в результате этого происшествия. И может быть буду жить на пару лет меньше срока, изначально отпущенного мне Природой или Господом Богом, кто как понимает!

... Милиционер козырнул Гуте, и строго, но с какой-то слегка ощутимой лукавинкой, взглянув в мою сторону, не спеша, с чувством собственного достоинства, как вошел, так и вышел из нашей квартиры.

...Вечером, когда мама пришла с работы, мне... вообще ничего не было! Вот так вот!

В этот период Гутя и мама были в очередной крупной ссоре, и она не рискнула лезть к маме со всей этой историей, правильно полагая, что моя мелкая пакость с ее пустой кастрюлей вряд ли вызовет у мамы слова, и тем более действия, осуждения в мой адрес. Так зачем же тогда, скажите, доставлять лишнее удовольствие своей врагине?

Второй серьезный контакт, уже не с одним, а последовательно с несколькими правоохранительными органами, произошел у меня спустя аж лет сорок. Он также был на почве полнейшей ерунды, но по последствиям для меня оказался уже гораздо серьезнее. Потребовались удача и немалые усилия друга, случайно оказавшегося способным помочь, чтобы предотвратить грозившие мне весьма серьезные непри-

ятности. Но это отдельный сюжет – он ниже.

Третьего серьезного контакта пока еще не было. Но я его весьма опасаясь. Мне не нравится тенденция, сопровождающая эти контакты, – все более жесткие последствия. Да еще всякие избитые истины лезут в голову, типа – Бог троицу любит! – Или детская считалка, запавшая в голову с тех самых далеких лет: «Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз – не пропустим вас!».

Стыд и срам!

– Хватит валять дурака, иди сюда! – Это мама. Мы идем с ней по разные стороны неширокой улицы Рубинштейна. У меня в руках сумка с нашим чистым бельем, у нее – таз. Сегодня суббота. Мы идем в баню, ближайшую к нам, в Щербановом переулке. Я злой донельзя, и мама пытается смягчить обстановку. Мне уже двенадцать, а мама все еще водит меня по субботам с собой в женское отделение – мужчин-то у нас в семье нет, и она боится, что без ее присмотра я плохо вымоюсь. Остальные стороны банной проблемы, связанные со мной, в том числе и весьма щепетильные, маму не волнуют – мои протесты и требования отпустить меня в баню одного пресекаются или просто игнорируются.

Официально женщины допускаются в баню с мальчиками только дошкольного возраста. Но это официально. С учетом же наличия после войны большого количества вдов с детьми, – банное начальство позволяет себе смотреть на это правило немного «сквозь пальцы». И мелких мальчиков лет до девяти-десяти банщицы обычно пропускают, делая вид, что не замечают нарушения. Но не более того. Тут все же есть своя «красная линия», и когда женщины пытаются провести с собой более возрастных сыновей, изредка возникают конфликты. С униженными просьбами и объяснениями – с одной стороны, и базарными криками возмущения и непуг-

щания – с другой.

Я хилый и малорослый. Пользуясь этим, маме удастся проводить меня без инцидентов. На случай их возникновения я имею строжайшие инструкции говорить, что мне вообще семь лет, поскольку если банщица прицепится, то сказав восемь или девять уже не спасешь положение. Она обопрется на «букву закона», и все равно не пустит. Но пока еще врать не приходилось, от чего, собственно говоря, мне не легче.

Вот тут стоит обратить внимание на некоторые серьезные различия среди моих ровесников, так сказать, морально-этического свойства.

Как известно, человеческая природа такова, что если человеку что-то можно, то ему этого не хочется, а если то же самое нельзя – то хочется, причем очень. В результате те, кому нельзя, но очень хочется – готовы аж с риском для жизни лезть по водосточной трубе, по карнизу, да и вообще по чему угодно, лишь бы добраться до вожделенного окна женского отделения. И с упоением и трепетом во всех членах, хоть минуточку созерцать увиденное в любую, даже самую крошечную дырочку, процарапанную в краске, которой окно покрашено. Те же, которые, вроде меня, «допущены», находясь непосредственно в этой вожделенной для кого-то обители, от стыда готовы провалиться сквозь что угодно. Смущаются, не знают куда девать глаза от того, что в них бесцеремонно лезет со всех сторон. И вообще проклинаяют того,

кто их сюда притащил, не принимая во внимание никаких вынудивших к этому обстоятельств.

А еще собственная, так сказать, неприкрытая нагота, которую может созерцать любая особь женского пола, мельтешащая вокруг. И при этом вдобавок надо изображать свое полное равнодушие к окружающей обстановке, состоящей сплошь из всех форм и разновидностей голых баб, женщин, девушек, девочек и старух.

Вот и попробуй все это переживать еженедельно. Свихнуться можно! Но маме что?! Мама эти мои проблемы и переживания всерьез принимать не хочет. Ей главное, чтобы я был чистый! Желательно и душой, но хотя бы телом. Ладно, когда мне было семь, ну восемь, ну девять лет. А она взяла и не заметила, как мне стало одиннадцать, а теперь вот уже и двенадцать. Так что можете себе представить в какое животрепещущее состояние она повергала меня каждую субботу.

Общественные бани в Щербаковом переулке были там еще до революции (интересно, что там сейчас?). Если память не изменяет, это трех— или четырехэтажный дом с двумя отделениями на каждом этаже. Мы с мамой ходили на третий этаж.

Наша очередь начиналась еще на улице и, достигая лестницы, постепенно, со ступеньки на ступеньку поднималась до входа в отделение. Ее продолжительность – не менее двух часов. Меньше редко, а вот если прокопаешься дома со сбо-

рами, то может быть и дольше.

Два часа стоять долго и, главное, трудно. Лампочки на площадках маленькие и тусклые – читать не получалось. Чтобы хоть как-то скрасить свое пребывание в очереди, женщины частенько начинали общаться между собой, благо общих тем долго искать не приходилось.

Вот и в этот раз через некоторое время мама уже обменивалась мнениями и информацией по всяким актуальным жизненным вопросам с женщиной, стоящей впереди. Женщина была с дочкой. Примерно моего возраста. И если взрослым просто так, без дела стоять тяжело, то уж детям подавно, сами понимаете. Но дети – не взрослые. У них свои правила приличия и порядки. Так сказать, свой, детский менталитет. И начать вот так вот, без особого повода, если ты не уличный хулиган, приставать к незнакомой ровеснице или ровеснику, неприятно. Тем более учтите – это были годы раздельного обучения. Чтобы даже шестнадцатилетнему мальчишке пригласить на танец девочку на каком-нибудь межшкольном вечере, для этого требовалась немалая сила духа. И, я бы даже сказал, характер. Говорю не понаслышке, сам испытал, хотя по сравнению с большинством своих школьных товарищей был менее закомплексован при общении с девочками – все-таки у меня был двор, да еще каждый год пионерский лагерь.

В общем, стоим мы с этой девчонкой, приглядываемся друг к другу. А, если не забыли, мне по «легенде» не больше

семи лет. Ну, восьми-девяти, в крайнем случае. И она это безусловно знает. На счет возраста, я имею в виду, – до какого мальчишку можно водить в женское отделение.

Она же, как я сказал, – моя ровесница, то есть лет двенадцати. А может даже и тринадцати. И хотя в ее «солидном» возрасте негоже первой «приставать» к мальчишке, однако, учитывая столь значительную предполагаемую разницу в годах, она, как старшая, себе это позволила.

– Ты в какой школе учишься? – А я, дурак, забыв, что по легенде я еще дошкольник, так прямо, без обиняков, и ляпаю ей – в 219-ой! – А я в 218-ой, – отвечает (это рядом с нашей школой, за углом, на Рубинштейна). Но, видимо, девочка все же и не предполагала, что я еще дошкольник, так что мой ответ ее вроде бы не смутил. – А в каком классе? – Вот это был действительно, как говорится, удар ниже пояса! Мое самолюбие ну никак не позволяло занизить себе класс, да еще в разговоре с ровесницей, а сказать правду нельзя. Но вопрос был задан с таким безмятежным выражением лица, с такой невинной ясностью в глазах, что заподозрить коварство в его сути с моей стороны было даже как-то неприлично. И я решил: – В пятом! – На ее лице отразилась смесь смятения и сомнения, – по-видимому, от несоответствия моей малолетности и щедедушности столь высокому уровню образования. Но это была интеллигентная девочка – она, если что и подумала, то ничего не сказала.

– А ты знаешь Витьку Колобкова? Длинный такой.

– Витьку? Знаю. Он же второгодник, пришел к нам из бывшего пятого «е».

– А ты Лариску Тимофееву? – она из нашего двора.

– Лариску? Немного знаю. Воображала такая. Она в пятом «в» учится, а я в пятом «а».

– Да? А у нас она вроде бы ничего, только во двор редко выходит.

Мы продолжали обмениваться разной несерьезной информацией, что весьма облегчало стояние в очереди как-то незаметно двигавшейся вверх со ступеньки на ступеньку. До двери в отделение оставалось не более половины лестничного марша... И тут вдруг ... язык как будто прилип к гортани. Я запнулся и, даже не договорив очередную фразу, замер, наверно заметно изменившись в лице!

Девочка удивленно посмотрела на меня. Потом вслед за мной смутилась, покраснела и даже вроде бы не заметила, что я застрял на середине фразы... Я понял, что ей пришло в голову то же, что и мне. Только мне на секунду раньше. Видимо действительно мысль может передаваться на расстояние. А что еще тут можно предположить?

Возникшая же у меня столь неожиданно мысль была весьма незамысловатой. Но что самое страшное, – абсолютно реалистичной: уже через десять-пятнадцать минут я окажусь вместе с этой девчонкой в одном банном отделении. И она будет созерцать меня, как говорится, «в чем мать родила». А я – ее!! Представляете?!!

И вот как тут вам передать мои чувства, я прямо не знаю. Даже сейчас не знаю. Тем более тогда. Вы, может, думаете – скажи на милость, какой чувствительный...! Сам говорит, что видел голых женщин всех возрастов, форматов и конфигураций чуть ли не сотнями каждую неделю в той же самой бане, а тут вдруг такая щепетильность?..

А вы попробуйте себя представить ребенком того возраста и на моем месте! Тогда, думаю, поймете мое состояние. Ведь речь идет не вообще о какой-то ровеснице, а о знакомой!

Разговор у нас конечно тут же увял. Мои мысли как то неупорядоченно суетились, не будучи в состоянии подсказать какой-нибудь приемлемый выход – в голове аж гудело от напряжения. Я от волнения даже вспотел, сердце выдавало не менее 120 ударов в минуту и даже давление наверно подскочило (хотя обычно где оно, это давление? – У мальчишки-то?)!.

Мы стояли, заслонившись своими мамами, которые ничего, естественно, не заметив, продолжали свою содержательную беседу.

Но Бог есть на свете, ей-богу, есть. Так получилось, что девочку с ее мамой запустили последними в предыдущей порции, а нам пришлось еще ждать. И потом, уже в огромном предбаннике, мы видимо оказались далеко друг от друга – я ее больше не видел. А она меня? Кто знает? – я и глаза-то боялся поднять, не то что бы высматривать кого-то.

Мы с мамой разделись, естественно, в одном шкафчике. Она защелкнула замочек, одела номерок себе на ногу и, решительно взяв меня за руку, повлекла злого, чуть упирающегося, желающего показать, что «ничто не забыто», в мыльную. Потолкавшись среди голых женщин, мы, наконец, нашли лишь одно место на длинной двухместной каменной скамье. Мама оставила меня сторожить его, а сама с тазом пошла за кипятком, чтобы окатить ставшее теперь нашим место. Затем грубо, несмотря на мое верещание, она вымыла мне голову. После этого я был водружен стоя на скамейку рядом с тазом, тщательно, без сантиментов продраен мыльной мочалкой во всех местах, в том числе и весьма деликатных. В заключение мама окатила меня почти что кипятком, вручила номерок от шкафчика, и я был отправлен в предбанник одеваться, а она осталась мыться.

Все шло по нашей обычной схеме. Всё да не всё. Когда я вручил банщице номерок, чтобы открыла наш шкафчик, она как-то нехорошо окинула меня взглядом и спросила сколько мне лет. – Семь, – слегка запнувшись ответил я убитым голосом. – Семь!? Семь тебе было семь лет назад! – громко возмутилась банщица, привлекая внимание окружающих. Начинался скандал. – Где твоя мать? – Моется. – Вот пусть сама придет – многозначительно потребовала банщица, не открывая мне шкафчик. Я, взволнованный, пошел за мамой. Когда мы вышли из мыльной, там уже шли ожесточенные де-

баты по нашему поводу. – Скоро уже своих мужиков водить в женское отделение станут! Совсем совесть потеряли! – орала банщица. – Ну, что вы, в самом деле, скандалите – оппонировала ей какая-то, уже полуодетая женщина лет сорока с интеллигентным лицом. – Наверно ей не с кем ребенка отправить в баню. – А мое какое дело?! – не унималась банщица, уже нахально глядя на нас с мамой. – Правила для всех одинаковые. – Вот вызову сейчас дежурную, и пусть штрафует ее за такое безобразие! – все больше заводила она себя в своем «праведном» гневе.

– Да уж, действительно. Парень-то совсем большой. Отвернешься, он и вправду какую-нибудь девчонку на лету отымеет, – поддержала ее ерническим тоном мерзкая маленькая старушонка с обвисшими титьками и морщинистой задницей.

– Ишь, размечталась! Думает, вдруг он ее с этой девчонкой перепутает! – сказал кто-то из женщин. Некоторые засмеялись.

– Нет, с таким большим парнем ходить – это действительно не дело, – недовольно и весьма категорично, как будто подытоживая решение профсоюзного собрания, заявила женщина средних лет с усталым желчным лицом.

Скандал с переменным успехом, но все же понемногу разгорался. Как костер, разводимый под дождиком опытной рукой.

Мама, вообще-то умевшая постоять за свои права, поче-

му-то вела себя как-то слишком индифферентно. Видимо понимала, что в данном случае «закон» не на ее стороне.

Вдруг неожиданная, и главное юридически ценная поддержка пришла со стороны молодой тетеньки с решительными манерами фабричной активистки.

– А куда ты смотрела когда пускала? – спросила она. – Вот тогда бы и стояла за свои правила. А теперь-то чего на них «полкана спускаешь!?».

Почувствовалось, что банщица, хотя и оставила эту ремарку без ответа, но внимание на нее обратила. В безупречной системе ее нападения неожиданно обнаружилось слабое звено. Если вызвать дежурную, то она ведь тоже может заметить эту промашку. И сильно или слабо – нам сие неведомо, – но это, по-видимому, могло навредить банщице.

Мама по-прежнему пыталась как-то неубедительно оправдываться, но это было никому неинтересно – причину моего появления в женском отделении все прекрасно понимали и так. Включая саму банщицу. Но надо же иногда выпустить пар, показать власть над ближним – что может быть слаще для опущенного жизнью человека?

С трудом, но маме все-таки как-то удалось, проявляя несвойственную ей выдержку, убедить банщицу открыть нам шкафчик без вызова дежурной. Под градом ее громогласных хамских нападок, которыми она пыталась как-то компенсировать свою «уступчивость», мы быстро одевались, натягивая белье прямо на мокрое (а мама – и на невымытое) тело.

– Вот еще раз увижу тебя с мальчишкой – так просто не отделаешься! – послала банщица нам вслед последний заряд своего возмущения, когда мама, ведя вялый арьергардный бой, покидала со мной в правой и тазом в левой руке это гостеприимное помывочное заведение, проталкиваясь сквозь очередь из женщин, толпившихся с другой стороны двери.

В следующую субботу у меня был дебют! – я без сопровождения, самолично был отпущен в баню. Мама это пережила тяжело. Но пережила.

«Вперед, “Зенит”, вперед за Питер!»

Терпеть не могу ставшее сегодня фактически официальным слово «фанат». Поскольку ненавижу все фанатичное вообще, суть этого понятия и все его конкретные воплощения. Совсем другое дело слово «болельщик» – более себе без ущерба для окружающих, более или менее интеллигентно, за любимую команду или за спортсмена – и тебе хорошо (какой-никакой выброс адреналина), и чувство некоего братства с окружающими на позитивной основе и т. д. и т. п. Да и вообще, как может не быть болельщиков там, где есть «голы, очки, секунды»?

В моей семье после войны не стало мужчин, так что точно не помню, где и от кого я заразился этим болельщицким синдромом. В приложении к футболу, конечно. Среди моих дворовых приятелей и одноклассников я тоже болельщиков не припомню. Тем не менее, я им стал довольно рано – лет в десять-двенадцать. Вероятнее всего, я как-то случайно попал на стадион во время своих беспризорных и бессистемных поездок по огромному городу, и меня привлек этот дух позитивного единения множества людей на трибунах, где «все за одного (т. е. за «Зенит»), а один («Зенит») за всех», т. е. за нас, ленинградцев. Тогда еще болельщики команд-соперников «Зенита» не ездили за своими кумирами, и потому весь стадион был един в своих симпатиях. Раз-

новкусие выражалось лишь в большей или меньшей любви к отдельным персоналиям «Зенита», но это, как понимаете, не повод для серьезных конфликтов. Да и вообще, агрессивность болельщиков времен моего детства и нынешних фанатов несопоставимы.

Активному «болению» многих ленинградцев за «Зенит», по-моему, более всего способствовали два обстоятельства. Во-первых, «Зенит» тогда, как, собственно, и теперь, по сути был единственной командой нашего огромного и всеми уважаемого города, поскольку ленинградское «Динамо» всегда сильно уступало ему в классе и достижениях – даже в те далекие годы, когда обе команды играли, говоря по теперешнему, в премьер-лиге. А слабых, как известно, любят только жалостливые женщины с гипертрофированным материнским инстинктом. Во-вторых, всенародной ленинградской любви способствовало еще не забытое всесоюзное достижение «Зенита» тех лет – кубок СССР, завоеванный им в 1944 году. Событие это было чрезвычайное, поскольку впервые нарушило гегемонию столичных команд, деливших до этого в футболе всё и вся. Таким образом, болельщицкая любовь приобретала этакое кумулятивное, сосредоточенное именно на «Зените», действие, что придавало ей дополнительную мощь.

А где же я брал деньги на билеты на стадион, которые по тем меркам и тогда были недешевы? Я, которому если и попадали от мамы какие-нибудь копейки, то совершенно на

конкретные цели; понятие же «карманные деньги», по крайней мере для детей в семьях типа нашей, вообще отсутствовало. А нигде! Я вообще не помню, чтобы на какие-нибудь мероприятия, в которых я принимал участие единолично, билеты покупались бы с помощью мамы. Мне даже в голову не приходило, что на это у нее можно попросить денег – не те времена были.

Для проникновения на стадион у меня имелось несколько схем, одна из которых, правда часто после значительной нервотрепки, почти всегда срабатывала, – случаи, чтобы мне пришлось возвращаться домой «несолоно хлебавши» были крайне редки.

Все начиналось еще на весьма далеких подступах к стадиону. Кстати о стадионе. Это был, естественно, не Петровский, и даже не снесенный относительно недавно по причине крайней «моральной и физической изношенности» стадион им. С. М. Кирова, воссоздаваемый сейчас на Крестовском острове на новой технической основе. Это был забытый сегодня всеми, кроме, конечно, тех немногих, кто серьезно интересуется историей ленинградского футбола, стадион «Динамо» им. В. И. Ленина. Располагался он, если не изменяет память, где-то возле ЦПКиО или непосредственно на его окраине.

В день матча несколько номеров трамвая, ходившие на стадион, были плотно набиты уже в районе Невского, и дальше площадки проникнуть было трудновато. А мне, собствен-

но, и не требовалось. Стоя на площадке, в разновозрастной и разномастной во всех смыслах мужской толпе болельщиков, я подыскивал себе «жертву». Это было сложное психологическое мероприятие, требовавшее всего моего физиогномического опыта, накопленного уже к тому, хотя и весьма незначительному, возрасту (собственно, как и у любого ленинградского мальчишки-полубеспризорника, подобного мне). Я выбирал одинокого (в смысле, не входящего в компанию) дяденьку средних лет, обладающего в меру интеллигентным и, главное, добрым лицом. Для определения последних двух свойств в основном и требовался упомянутый выше мой опыт психолога-практика. «В меру интеллигентным лицом», поскольку очень уж интеллигентные могли и не согласиться вследствие своей гипертрофированной честности на ту «аферу», в которую мне их предстояло втянуть.

Выбрав в своем окружении подходящую личность, я потихоньку протискивался к ней, и просящим голосом, полным внутреннего волнения, которому должно было соответствовать и жалостливое выражение лица, интересовался – «Дяденька, а вы не на стадион едете?» – «На стадион, а что?» – «Дяденька, проведите меня, пожалуйста!». Кое-кто сразу соображал в чем дело и, как правило, соглашался. Некоторые же, менее опытные, недоумевающе интересовались как они это могут сделать, если у них всего один билет. Этим несмышленишам я объяснял юридическую и практическую сторону вопроса, и, как правило, тоже получал, прав-

да несколько неуверенное, но согласие.

По прибытии трамвая на кольцо, которое было у стадиона, такой названный «папаша» брал меня за руку, и мы шествовали к проходной. Мое сердчишко усиленно колотилось, давление, несмотря на мою гипотонию в детстве, вероятно значительно подскакивало, и я шел молчаливый, взволнованный, и глубоко озабоченный известным гамлетовским вопросом в его редакции, подходящей к данному случаю, – «выйдет или не выйдет?!». Дело в том, что, согласно тогдашним (а может быть и теперешним?) правилам каждый «обилеченный» взрослый мог провести без билета одного ребенка дошкольного возраста. Будучи маленьким и хиленьким, я частенько проходил за эту категорию иждивенцев, несмотря на свои десять-двенадцать лет. Иногда тетки-контролерши явно видели, что их пытаются обмануть, но, укоряюще покачав головой, все же молча пропускали нас. Но нередко попадались и контролерши-садистки, ловящие кайф от предоставленного им права «держат и не пущат», затевавшие строгий допрос с пристрастием моему мнимому «папаше»: – Мужчина, сколько лет вашему мальчику? – Уже после такого простенького вопроса многие неопытные «папаши» вместо того, чтобы четко врать, что положено, частенько тусовались, начинали сразу упрашивать контролершу пропустить мальчика, чем окончательно губили дело. Однако, даже если на подобный вопрос следовал правильный ответ, то опрос на этом обычно не кончался: – А это вообще ваш ребен-

нок? А почему я должна вам верить, что ему семь лет? и т. д. и т. п. Полностью выдержать подобное испытание удавалось немногим, и если уж оно начиналось, то, как говорится, «пиши пропало». «Раскалывали» моего мнимого «папу» обычно во всю глотку, стыдя его за обман, и категорически отказываясь пропустить меня. Тут проявлялась моральная сущность и стойкость моего временного опекуна. При этом приходилось наблюдать самые разные типы людей. Некоторые молча бросали мою руку, злясь на меня и себя, и торопились сами быстрее пройти через контроль, пока к эксцессу не был подключен милиционер; некоторые смущенно извинялись передо мной: – «Ну, ты уж извини, малец, – не получилось», – и тоже побыстрее проходили сами, бросив меня. Но были и такие, которые разыгрывали целый спектакль, настаивая на своем праве провести меня, или упрашивая контролершу, взывая к лучшему, что есть в ней, и, в первую очередь, к материнским чувствам. Иногда подобные мини-спектакли, при которых я был самым заинтересованным зрителем, даже приводили к успеху, поскольку сзади напирала публика с билетами. Часть ее орала на моего «папу», чтобы он не придурился и не задерживал народ, а часть, по той же самой причине, орала на контролершу, требуя от нее не устраивать затор из-за ерунды, и пропустить парнишку с отцом. Было несколько случаев, когда мой сопровождающий даже совал тетке деньги, якобы за билет для меня, которые существенно превышали его стоимость, лишь бы быстрее прекратить уни-

зительную дискуссию и решить вопрос в мою пользу. Всякое бывало.

...Но вот я стою один – номер не прошел. Тогда пускались в ход другие, имевшиеся про запас заготовки. Одна из них – вариант, описанный выше, но с ловлей «папаши» уже непосредственно перед проходной (другой, естественно, а не той, где я потерпел фиаско). Или попытка проскользнуть, спрятавшись за спины «обилеченных» сограждан, что в силу моей subtilности и мелкости мне частенько удавалось. Или, также на основе своего психологического опыта, я выбирал на вид наиболее добрую контролершу и упрашивал ее, чтобы она меня пропустила и т. д. и т. п. Короче, как правило, один из этих многочисленных приемов все-таки срабатывал, и я проникал на стадион.

Хотя все места были только сидячие, стадион, как и сейчас на секторах фанатов, в основном болел стоя, – не столько из-за невозможности сдержать эмоции, сколько потому, что иначе многого было не увидеть. Но никаких тебе барабанов, дудок, баннеров, файеров. Обходились натуральными подручными средствами в буквальном смысле этого слова – свистом в два пальца одной руки, или по пальцу с каждой, а большинство вполне профессионально свистело вообще без привлечения рук. Моих способностей хватило лишь на освоение наиболее простого варианта – в два пальца одной руки, да и то не слишком громко. Ну, и конечно орали во всю

мочь: «Куда пасуешь, мать твою?! Ты что не видишь ни хрена, ослеп совсем!...» или «Фрида, давай, давай! ...Ну, что же ты – бить надо было...!» и т. д. и т. п. Выражения не выбирали, и из особ противоположного пола на трибунах могли присутствовать только самые тертые и испытанные болельщицы, коих много не набиралось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.